



«Живем словом»

ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ
В ПИСЬМАХ
И ВОСПОМИНАНИЯХ

«Живем словом».
Всеволод Некрасов в
письмах и воспоминаниях

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

2022

УДК 82-6+82-94
ББК 84стд1-442.3

«Живем словом». Всеволод Некрасов в письмах и воспоминаниях
/ «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2022

ISBN 978-5-7598-2807-5

В книге читатель найдет фрагменты эпистолярного наследия Всеволода Некрасова, мемуары, интервью. Среди авторов художники Э. Булатов, В. Немухин, О. Рабин, Ф. Инфанте, А. Монастырский, поэты Я. Сатуновский, Н. Боков, В. Кривулин, Л. Рубинштейн, режиссер А. Левинский, а также переводившие Некрасова на немецкий (С. Хэнсен), английский (Дж. Янечек), чешский (А. Махонинова). Тексты, в том числе самого Некрасова, публикуются преимущественно впервые и сопровождаются визуальным рядом: изображения являются документальным свидетельством эпохи и часто обладают самостоятельной художественной ценностью. Книга адресована исследователям литературы и культуры, широкому кругу читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 82-6+82-94
ББК 84стд1-442.3

ISBN 978-5-7598-2807-5

, 2022
© Высшая Школа Экономики
(ВШЭ), 2022

Содержание

От составителей	6
I. Некрасов вспоминает	9
Автобиография	16
Письмо А.И. Цюрупе	17
<М.Е. Соковнин>	21
<О метафоре в поэзии 1950–1960-х годов: из статьи об акции группы «Коллективные действия» «Темное место»>	27
<Я.А. Сатуновский>	31
О ранних работах Э.В. Булатова	38
<У Белого дома в августе 1991 года>	40
Из интервью В.Г. Кулакову	48
Конец ознакомительного фрагмента.	60

**«Живем словом». Всеволод Некрасов
в письмах и воспоминаниях
Составители и ответственные
редакторы Г.В. Зыкова, Е.Н. Пенская**

Рецензенты:

И.В. Кукулин, канд. филол. наук, литературовед, литературный критик;

Томаш Гланц, профессор Университета Цюриха

Иллюстрация на обложке: Вс. Некрасов. 1967 г. (?) Фото К.К. Доррендорфа. Изображение предоставлено автором.

Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики
<http://id.hse.ru>

doi:10.17323/978-5-7598-2112-0

© Авторы, 2022

© Наследники Вс. Н. Некрасова и А.И. Журавлевой, 2022

© Составление. Зыкова Г.В., Пенская Е.Н., 2022

От составителей

Мы начали готовить эту книгу вскоре после смерти Некрасова при участии Анны Ивановны Журавлевой (в последние дни ее жизни). Подготовка растянулась больше чем на 10 лет. За то время некоторые авторы материалов ушли из жизни (О.В. Васильев, О.Я. Рабин, Антонин Броусек, В.Н. Немухин, Н.К. Боков, В.С. Коваль, В.Я. Тучков, В.Т. Стигнеев...).

От традиционных для «сборников памяти» научных статей и стихов на смерть поэта мы отказались с самого начала. Книгу составляют мемуары, интервью, письма¹. Визуальный ряд включает фотографии (прежде всего автографов, рукописных и машинописных) и репродукции картин и графики (в том случае, когда репродуцируемое обсуждается или упоминается в статьях и интервью²).

Все эти годы мы – при деятельном участии М.А. Сухотина – разбирали архив Некрасова, передавая его в РГАЛИ, и в этой работе постепенно прояснялась основа книги: обнаруживалась документальная проза самого Некрасова, завершенная и незавершенная: воспоминания (часто поясняют его эстетическую позицию), письма, разговоры (аудиозаписи). Вместе с письмами Анны Ивановны эта документальная проза составила почти половину настоящего издания³.

Наши собеседники в этой книге, как правило, рассматривают Некрасова в культурном контексте разных эпох, к которым он имел непосредственное отношение. Среди сообществ, так или иначе упоминаемых здесь, – русский «Барбизон» в Прилуках, университетский семинар В. Турбина (1960-е), совсем другой природы семинар М. Шейнкера и А. Чачко, где уже в 1970-е годы художники и поэты обсуждали самые острые для них творческие вопросы, ленинградский самиздатский журнал «Тридцать семь», где В. Кривулин (так же как и его друг М. Шейнкер на своем московском семинаре) пытался в конце 1970-х примирить «московскую» и «петербургскую» художественные школы, круг концептуалистов (см. интервью Л. Рубинштейна, мемуары Жигалова, Абалаковой и Монастырского), в частности, группа «Коллективные действия», художники, связанные с Московским архивом нового искусства. Заметим, что публикация воспоминаний об участии Некрасова в акциях «Коллективных действий» и в МАНИ потребовала от составителей обратиться к архивам, чтобы прояснить запутанные вопросы, связанные с присутствием текстов и объектов Некрасова в «Папках МАНИ». Внятное и полное описание этих важных документов публике до сих пор не предложено, хотя речь идет о событиях почти сорокалетней давности... Вопрос о хронологических и художественных границах русского концептуализма размыт: постороннему наблюдателю может даже показаться, что концептуализм нередко понимается не столько как художественная система, сколько как закрытый клуб, так что всякое уточнение фактов – дат, круга текстов и проч. – полезно.

Посвященные сложной истории книги стихов Некрасова, планировавшейся, но не вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение», воспоминания сотрудника тогдашнего «НЛО» Т. Михайловской касаются конфликтных вопросов редакционной кухни рубежа 1990-х – 2000-х годов. О публичном поведении позднего Некрасова как литератора, об особенностях рецепции его творчества в новой аудитории свидетельствуют воспоминания белорусского филолога И.С. Скоропановой и А. Голубковой (последняя оценивает на собственном опыте, в частности, степень осведомленности недавних выпускников филологического факультета МГУ о поэзии второй половины XX века).

¹ Мы не собирались здесь полностью дать сохранившийся (прежде всего в архиве поэта) корпус переписки Некрасова (довольно значительный, потому что была привычка сохранять копии писем – вторые экземпляры машинописи).

² Описание и репродуцирование собранной Некрасовым коллекции живописи и графики (передано в ГМИИ) – задача отдельного каталога.

³ Кое-что из вошедшего в книгу мы уже обнародовали, прежде в сетевом журнале «Цирк “Олимп”» и на персональном сайте Некрасова; если во врезе это не оговаривается, то материал публикуется в настоящем издании впервые.

Только о «лианозовской группе», к которой обычно в первую очередь Некрасова и причисляют (тем самым слишком ограничивая, на наш взгляд, представления о нем и искусственно загоняя живого, меняющегося поэта в резервацию начала 1960-х годов), вспомнить оказалось уже почти некому (отчасти это компенсируется письмом О.Я. Рабина во втором разделе).

* * *

Архивные материалы воспроизводятся с сохранением авторского правописания (очевидные опiski устраняются); в стихах воспроизведена значимая для автора графика.

Комментариями составителей сопровождаются только (как это принято) архивные материалы. В отдельных (редких) случаях мы – как современники и свидетели – позволили себе уточняющие реплики к высказываниям ныне здравствующих авторов.

В книге отсутствуют справки об авторах, но в одном случае мы все-таки решили поступить иначе: с Валерием Тимофеевичем Стигнеевым (28 сентября 1937 – 18 декабря 2021, Москва), близким другом Некрасова и Журавлевой, мы были знакомы многие годы, а после его ухода племянник покойного, Д.В. Жегулев, любезно передал нам копию его трудовой книжки, по которой мы смогли восстановить его профессиональный путь.

Композиция блока воспоминаний о Некрасове строится в хронологическом порядке, от старших к младшим.

* * *

Крупные проекты последних десятилетий, посвященные неподцензурной культуре второй половины XX века, выявили наличие существенных лакун. Документальные разделы в них по большей части посвящены визуальным искусствам, книги о литераторах можно пересчитать по пальцам⁴. Так, на «оттепельной» выставке в Третьяковской галерее собственно литературе было уделено место более чем скромное; нельзя, однако, не заметить, что сопоставимых по масштабу экспозиций, посвященных литературе эпохи, в сущности, не было. Материалы из личного архива Всеволода Некрасова, как мы полагаем, сегодня восстанавливают крайне важный пласт русской культуры второй половины XX – начала XXI века.

* * *

Мы благодарны всем, кто терпеливо ждал выхода книги, и тем, кто помогал: М.А. Сухотину, Яну и Алене Махониновым, М.Я. Шейнкеру, Г.Г. Суперфину, А.Ю. Макарову-Кроткову, И.А. Ахметьеву, В.И. Орлову, В.Г. Кулакову, М. Классен, В.Л. Лехциеру, А.В. Родионовой, А.О. Бурцевой, Н.В. Куприяновой, Е.А. Бережновой.

Спасибо М.Е. Сапрыкину, участвовавшему в подготовке именного указателя.

⁴ См., напр.: *Монастырский А., Папичков Н., Алексеев Н., Макаревич И., Елагина Е., Кизевальтер Г., Ромашико С., Хэнсен С.* Поездки за город. М.: Ad Marginem, 1998; Великий Генрих: Сапгир и о Сапгире. М.: РГГУ, 2003; *Кабаков И.* 60–70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: Новое литературное обозрение, 2008; Эти странные семидесятые, или Потеря невинности: эссе, интервью, воспоминания. М.: НЛО, 2010; Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов. М.: НЛО, 2010; Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР: эссе, интервью, фотографии. М.: НЛО, 2014; *Каптор-Козовская Л.* Гробман Grobman. М.: НЛО, 2014; Московский концептуализм: начало. Нижний Новгород, 2014; *Эпштейн А.* Художник Оскар Рабин: запечатленная судьба. М.: НЛО, 2015; *Шелковский И.* Переписка художников с журналом «А—Я». Т. 1–2 (1976–1981). М.: НЛО, 2019; Памяти Николая Бокова. N.Y.: Franc-Tireur, 2021; Из совсем недавних изданий – «“Лианозовская школа”: между барачной поэзией и русским конкретизмом» (М.: НЛО, 2021), готовившаяся в последние месяцы работы над настоящим изданием и частично пересекающаяся с ним по материалу, а также: *Кукулин И., Литовецкий М.* Партизанский логос: Проект Дмитрия Александровича Пригова. М.: НЛО, 2021.

Хотим выразить признательность Е.А. Ивановой, директору Издательского дома НИУ ВШЭ, за неравнодушие и творческое участие в работе над книгой.

Г. Зыкова, Е. Пенская

I. Некрасов вспоминает

*\$забыл
но помню*

Тихвинский переулок

*дом пять
дробь двенадцать*

корпус семь

квартира одиннадцать

*Некрасов Николай Матвеевич
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$мой отец
и моя мама*

*Валентина Филипповна
Секиринская*

я подумал

(По рабочей машинописи, конец 1970-х годов)

Под редакторским, видимо, названием «Предыстория» опубл.: Пушкин, 1997. № 1. С. 14–17 (см.: http://old.russ.ru/journal/list_sovr/97-09-22/nekras.htm, дата доступа: 14.03.2020). Публикация содержала некоторые опечатки, а также стилистическую правку и графические решения, не вполне согласованные с автором (замечания Некрасова по этому поводу см.: Пушкин, 1997. № 3, с. 44–45). В компьютере Некрасова сохранился файл редакции без следов постороннего вмешательства. В версии «Пушкина», кроме внешней правки, была, как можно догадаться, и какая-то правка самого Некрасова, вносившаяся по ходу дела и не зафиксированная в компьютере поэта. Отделить внешнюю «порчу текста» от авторской правки мы не беремся и воспроизводим здесь исходную редакцию по авторскому набору.

Текст купированного нами финала в «Пушкине» и авторском файле совершенно совпадает и легко доступен.

Родился я в 1934 в Москве. В 41 уехали в эвакуацию в Казань и, попробовав походить в школу, я от военной голодухи свалился с острой дистрофией и, месяца полтора пролежав в больнице с блокадными ленинградцами, выкарабкался не без труда. В школу пошел уже в Москве осенью 43 и окончил весной 53. В промежутке (45–47) уезжал к тете, маминой сестре, в Мариуполь, где, помню, первый раз за 4 года (41–45) наелся досыта. Туда же приезжал летом несколько раз до тетиной смерти (60), и вообще тете Марусе я благодарен за многое.

Дома обстановка была непростая, у матери с отцом что-то не ладилось, и она ушла в другую семью, прихватив и меня, чему эта другая семья в большинстве не обрадовалась. Все совпало с военными передрыгами и привело к потере родительской квартиры – в двух смежных комнатах теперь оказалось шестеро⁵ соседей не очень дружных. В 44 умер отец, в 47 – мать, в 52 – отчим⁶. И отношения со сводной родней всё напрягались.

⁵ В файле с позднейшей редакцией, носящей следы редакторской правки, – «семеро». – Здесь и ниже примечания состав-

Тем временем, набрав после школы 22 очка из 25, я не прошел по конкурсу на юрфак МГУ и скорее забрал документы куда попало (попал) – в МИНХ имени Плеханова (а на следующий день всех с 22 и даже с 21 очком отбирал из приемной МГУ юридический институт, который через полгода слили с тем же юрфаком. Повезло мне или не повезло – так и не знаю). Зимнюю сессию я сдал прилично. Два предмета, помню, даже понравились – теоретическая механика и начерталка. Но вообще со стимулами в Плехановском было, честно говоря, слабовато. Весеннюю сессию сдавал вяло, не сдал и отнес документы, куда хотел, собственно, нести с самого начала – опять же в МГУ, но уже прямо на филологический. И набрал уже 23. Налицо был прогресс, но недостаточный, чтобы одолеть конкурс, и с огорчения уехал я к тете Марусе набрать сил перед неминуемой армией. Но армии не повезло: помешал поезд «Стрела» – паровоз + 3 вагона. Ходивший твердо трижды в день по графику Завод – Вокзал – Порт. Как положено, а не как кто хочет. В августе все хотели на пляж – как раз между «Вокзалом» и «Портом», там на ходу и ссыпались. И ход не сильный – 20–25 км/ч – и дело вроде привычное, но и насыпь кривая. Результат – гипс. Разрыв связок, которому Свердловский райвоенкомат, конечно, не поверил. Но рентгену – пришлось. И вот первая зима без учебы и сделалась самой главной учебой.

Мое литературное воспитание – Лермонтов в 7 лет, Гоголь в 9–10 (плюс «Три мушкетера», Том Сойер), Пушкин и Некрасов (о сельском представлении было, а петербургский впечатлил, приготовив к очеркам Чуковского, и лет уже через 7) – в 11–12. Лежали книжки на столе, на полке. По «тарелке» Антон Шварц читал «Теркина». Лежал и Горький, вызывая кислое к себе отношение – бессознательное, но устойчивое. Иное дело – Есенин, томик 46 года⁷. Как бы и непонятно, но залегло до поры до времени где-то в фундамент. А дальше – уже не фундамент, а чтение больше по собственной инициативе и выбору. Во многом, боюсь, определившимся тов. Ждановым – понятно, с обратным знаком. «Пошляка Зоценко» я помнил еще с довоенных радиопередач в хенкинском, кажется, исполнении⁸. Сергеев пишет, что «не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова»⁹. Я «принадлежал» с потрохами – не без помощи, кстати, сводного, спасибо ему, дяди Ивана Константиновича в недолгий период терпимого ко мне отношения (еще он нещадно костерил Сталина – понятно, поплотней закрыв дверь) – заодно с интеллигентной частью «В» класса. И ушибла книжечка Архангельского 28, кажется, года¹⁰. Думаю, это был этап, перелом. Тут, наверно, я и пропал для всего, кроме литературы (8 класс), хоть еще и не знал об этом. Эта литература и заставляла читать себя именно как литературу, без конца сравнивая «Случаи в бане», оригинал и пародию, без конца восторгаться. И соображать, что к чему, хочешь не хочешь.

вителей. В тех случаях, когда примечания принадлежат автору текста, это специально оговаривается.

⁶ Семен Федорович Казанский (1877–1952), врач-гигиенист, автор многочисленных брошюр о гигиене на транспорте; профессор, доктор медицинских наук, член Ученого совета Центрального научно-исследовательского института Наркомздрава. Как и мать Некрасова Валентина Филипповна (урожденная Хлопик, Секиринская по первому мужу), Семен Федорович был, видимо, из Мариуполя или по крайней мере связан с этим городом, судя по составленному им «Отчету о состоянии земской медицины в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии за 1913 год» (Мариуполь, 1914). После смерти матери в 1947 году Некрасов остался в квартире на Петровке с Казанским и его родственниками. Казанский, судя по сохранившейся переписке с любимой теткой Некрасова, сестрой матери Марией Филипповной Хлопик (1907–1960), о пасынке заботился, но умер, когда Некрасов еще учился в школе; в квартире на Петровке как старшие с Некрасовым остались дочь Казанского Людмила и ее муж, упоминаемый Некрасовым Апанович; отношения с ними были неблизкие. Из этого дома Некрасов в 1967 году переехал к Журавлевым в Сокольники.

⁷ Есенин С.А. Избранное. М.: ОГИЗ, 1946. 480 с.

⁸ Рассказы Зоценко в исполнении Владимира Яковлевича Хенкина (1883–1953) выходили на грампластинках, сохранились аудио и видеозаписи.

⁹ Сергеев А. Omnibus. М.: НЛО, 1997. С. 247 («Альбом для марок», «Юберзее», «Новая жизнь»). Отношение Сергеева к Ильфу и Петрову этой фразой не исчерпывается, они были для него важны, как видно из того же «Альбома для марок».

¹⁰ Может быть, имеется в виду это издание: Архангельский А. Пародии. М.: Никитинские субботники, 1929.

Время было – смеху было. Сталин шел к концу и кончился как раз к окончанию школы. Но смех смехом, а крепко меня взяли в оборот какие-то растрепанные листики Есенина: «Закружилась листва золотая...», «А месяц будет плыть и плыть...» (сразу вспомнился тетин томик, стал его клянить, но он куда-то делся. Издадут Есенина уже в 56-м) и особенно первый том Маяковского, раннего, самого-самого, тогда только вышедший. Можно было подписаться и взять. Так я и сделал. (А потом – и последний, раз уже оплачено). И Блок здорового формата, 45 года, ухваченный в буке. Этим я и жил, и жил, смотрю, не так бедно. Естественно, пытался писать и сам – и, естественно, плохо. Крайне. Одолевала образность и великие образцы. Автором я просто не был, но читателем я уже был.

И тут-то мне и вышли каникулы. И если обязан я кому-то своей поэзией персонально, то (не считая влюбленностей) первым делом – Алику Русанову¹¹, приятелю с первого класса – он той зимой 54–55 взял надо мной настоящее литературное шефство. Познакомил с Мандельштамом («Как на Каме-реке глазу темно, когда...» – я сразу вскинулся: вот, опять как Блок, как Есенин, как Маяковский. Только не Есенин, не Маяковский и не Блок... Пастернак же попался поздний и тогда особо не зацепил), с Олейниковым и с Глазковым – с Глазковым даже и лично. Личное знакомство мало что дало, да не очень и интересовало – дядя Коля Глазков чудил как мог, как обычно, – дело было в другом – в ощущении поэзии первого, как теперь говорят ряда, пишущейся сейчас и здесь, на глазах. Какая она сейчас – поэзия? Кто сейчас Маяковский? Каким бы он, Маяковский, мог сейчас быть?.. Что собственные стихи не клеятся у меня еще и потому, что выпали они из времени, из движения языка, раз мои любимые образы-образцы – 40-летней, дореволюционной давности – я догадывался. Но окружающая «современная» поэзия (тогда Евтушенко в основном был Симонов) никак не заражала, ничем не заинтересовывала. Действительно современная – тот же, скажем, Мартынов – поэзия в печать не проникала, ее я не знал. А какой-нибудь «Евгений Аронич / не гений, а сволочь» Глазкова и была она,

¹¹ Альберт Борисович Русанов (14.01.1936, Петропавловск-Камчатский – 05.01.2002, Москва). Инженер, школьный друг Некрасова, московский коллекционер неофициального искусства в 1970-х–1980-х. Дружил с Н. Глазковым и познакомил с ним Некрасова. Несколько подробнее Некрасов говорит о Русанове в неопубликованном наброске: «Как я стал поэтом?.. Н-ну... Чтоб лишний раз не раздражать зря оппонентов (так их тут назовем), скажем осторожно: если я стал поэтом, то стал я им благодаря школьному товарищу Алику Русанову. Во всяком случае, на добрую долю. Остальные доли (неравной величины) – толстенный Пушкин, компактный Лермонтов (до школы), дореволюционный Некрасов (лет в 10), Теркин из “тарелки” в войну, книжечка Антокольского “Сын”, Том 1 Маяковского плюс книга Перцова, (еще раньше – “Маяковский сам”); Есенин (листочки, потом книжечка и “Роман без вранья”); Блок 46 и сборник пародий Архангельского 28 года, почитать который дала Ира М. в 8 классе. Да, наверно, сюда же Зошенко и Ильф с Петровым, практически заучивавшиеся наизусть: чем не стихи? (А вообще вопрос мне кажется по адресу: я вроде бы действительно помню, как становился кем-то и чем-то. Постепенно, поэтапно, со скрипом, куда медленнее, чем хотелось бы. Я, прошу прощения, человек не талантливый, в смысле не одаренный. Скорее, копивший.) То есть уже к старшим классам был я закоренелый поэт-читатель. Как и многие тогда. Каким образом и почему полез я в поэты-авторы? Тут-то и придется обратиться к Алику Русанову. Дело было так. Алик в юности был парень фантастически заводной и вообще фантастический. В том числе и в том смысле, что невероятный фантазер. До того, что с ним, наверно, трудно было бы иметь дело, кабы не одна черта, странность даже. В нем, по-моему, начисто не было злости. И никакой подлости, ни в каких ее модификациях. И что бы ни городил Алик, он никогда не врал – только фантазировал, и слушать его было, что называется, любо. Любили Алика все, и фантазировать мешать Алику было бы просто кощунство. Хоть бы его фантазии были и про тебя самого... У меня могли быть какие-то стихи, относившиеся некогда к Ире М., но своих этих стихов Алику я не показывал точно. Уже понимая, что не годятся они никуда ни с какой стороны. Другой разговор, что как одержимый поэт-читатель я так на Алика наседаю, так прожужжал ему уши футуристами-имажинистами, что завелся бы, наверно, любой, а Алик вышел на полные обороты очень быстро: почти сразу с самой серьезной физиономией стал требовать, чтобы и нам, раз такое дело, прямо выступить с манифестом – чем мы, действительно, хуже имажинистов-футуристов?.. Я ошарашивался и начинал мямлить, что и кроме манифестов неплохо бы иметь в багаже что-то – скажем, те же стихи... Алик не терялся и возражал в том смысле, что поначалу и у футуристов-имажинистов со стихами было не так уж густо – стихи или там романы – дело наживное, вообще лиха беда начало и т. д. <...> Будучи балбесом сравнительно взрослым, под 20 лет, на манифесты я всё же не клюнул, но с панталыку незаметно-таки сбился и принялся писать стихи ни с чего и не для чего – просто вот, чтобы были и у меня мои стихи... Как у людей... Для рекомендации, что ли... Резон для стихов не самый серьезный, и стихи были – не бей лежачего. И более чем беспомощные, и с художественными претензиями. Хуже не бывает. А хуже всего то, что с этими стихами я, подзуживаемый Аликом, сунулся на приемный конкурс в литинститут – вообще-то на авось сунулся, на всякий случай, но всё равно – сраму было... То есть сраму вроде бы и не было тогда: ну отказ и отказ, но как вспомнишь... Ладно уж – что говорить... Надо сказать, что мои разговоры про футуристов-имажинистов – это было еще что. Детский лепет рядом с Аликом, который был куда продвинутое и информированнее...»

современная поэзия, со своей современной техникой, актуальным языком, необходимым как воздух. Со своей концепцией стиха, философией и жизнью, живым движением речи, по которым за сорок лет просто истосковались. Вникать читательски тут было во что, и занятия этого хватило на всю длинную разгильдяйскую зиму. Помог и Алик, настроенный круто: юмор юмором, а Глазков гений. Глазков и сам говорит... И хоть и смущал гений, а в итоге, думаю, все дело в том, что Алик-то оказался прав. Как и Глазков. При всех дополнениях, примечаниях и уточнениях.

Сам я слово **гений** понимаю плохо. Слово **талант** не люблю: говорю, скажут «талантливый», а слышно: дурак, но талантливый. Без вдохновения нет читателя. Нет автора без соображения. До той зимы читатель я был уже, скажу, со вкусом. С мнением. Из Аликовой школы¹² я вышел читателем с понятием, и чтоб стать и автором, не хватало мне только съесть тех самых 7 пудов соли. Дело времени, дело техники. Чем и занялся я вплотную через год-два уже на вожделенном филфаке – правда, не МГУ, а бывш. Потемкинского педа: даже и с 24 очками из 25 в МГУ не взяли. Хотя, опять же, вряд ли бы мне дали в МГУ столько времени грызть этот гранит с практической стороны, не академической стороны – в ЛитО. А тут, спасибо, дали (и не только за свободное время. И за занятое, за занятия спасибо М.В. Панову, Е.Б. Тагеру, и не им одним), хоть диплома у меня нет. И сам диплом писать вдруг велели задним числом, по прошло-позапрошлогодней педпрактике – т. е. делать явную липу. И вообще не с той стороны тогда я уже чересчур вгрызся. Но как бы ни было, а грыз-выгрызал я уже в другую эпоху, в другом состоянии, больше по-зрячему, с другим ощущением, и писал уже об этом в других случаях.

Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, Бахтина я прочту куда позже. Мы жили тогда Райкиным, Гердтом, Мироновой, Драгунским – тем самым травестированием, карнавалом, амбивалентностью – жили живой пародией вряд ли меньше, чем жили ей 30–40 лет назад при «формалистах»: уцелевшие после Сталина просто и не могли, наверно, не пародировать Сталина – что бы они там ни пародировали. Такое время пришло. Время Большой Пародии...

Вернее, наверно, пароксизма пародии: пародии-то всегда должно быть время и место... Так или иначе, один «Парнас дыбом», который дал тот же Алик, спаял тогда общим жгучим интересом: ну как так – «И медленно пройдя меж голыми» – это же больше, лучше Блок, чем Блок, чем «меж пьяными»; «меж голыми» – не только смешно – это легче, крепче и таинственным образом добавляет именно таинственности. Это явно то, что тут надо... И все Вертинские не Вертинские, пародии-имитации Алика шли естественно первым делом от интереса, острого восхищения при помощи, естественно, подковырок и тоже возможно поострее...

Подковырки же, боюсь, бывали тогда типовые – сравнить грехи молодости и огрехи старости. Верней, прорехи, дыры эпохи. Столкнуть лоб в лоб Вертинского «белогвардейского» с «советским», Зощенко до и после проработки, Сельвинского с Сельвинским, Утесова с Утесовым, уесть Месс Менд Мариэттой Шагинян или Эренбурга – Хулио Хуренито – не то наоборот, не всегда и поймешь... И, уж конечно, напустить Маяковского на Маяковского. Острота таких сшибок бывала важнее знака, оценки: знак итоговой оценки и так проступал все явственнее – Большой Знак, общий. Уже потому, что само такое веселье, карусель сравнений-пародий-напоминаний еще лет 5 назад и не мыслилась. Сравнения-напоминания тогда были совсем-совсем другой жанр, что отлично все помнили – что и веселило; жизнь с краю черной сталинской дыры лет в 25 имела особенности...

Этой-то остротой, обоюдоостростью и жила глазковская строка как никакая другая. «Да он же умней Пастернака!...» – ахал, помню, выходя от Глазкова Аронов – человек и сам не глу-

¹² Нет, никак Алик не отец-командир, хоть и вышел по концу службы на Северном флоте (как раз за мои I–IV курсы) в младший комсостав, как положено. Алик парень был заводной и именно что талантливый, но уж не дурак. Как раз наоборот. У него тогда был явный дар пародии, не так литературной, как актерской, эстрадной. Вертинский был он лучше Вертинского, но на профессиональную эстраду, по-моему, и не пробивался. – *Примеч. автора.*

пый: при желании... Аронов тогда считал нужным доезжать всех и меня Евтушенко, которого и без Аронова было навалом, а я долбил Сашу Глазковым, за которым пришлось и тащиться к Глазкову – и вот: не зря, стало быть... Правда, как я понимаю, без последствий... (книжку Глазкова Евтушенко составил, кстати, до странности плохо, без разбора. Лучший печатный – по крайней мере, до 95 – сборник 84 года подобран вдовой, Риммой). Образностью так хотелось захлебываться, а выходило – расхлебываться. Глазков словно бы чуть касался, вроде почти случайно – но выходило точно, легко и в голове застревало не слабей имажинизма: «Над Москвою небо сине-сине. / Час такой: не поздно и не рано; / И не купишь водки в магазине, / И уже закрыты рестораны... / В час четвертый ни утра ни ночи / Видишь мир особыми глазами, / Ну, а если выпить хочешь очень – / Водка есть на Киевском вокзале...» **Осмеянные** как будто образность, захлеб, лирическое настроение оказываются **упрочненными**, усиленными. Через годик-два я с головой уйду в Леонида Мартынова. Затем – в Окуджаву, и уже не выйду... Окуджава, по-моему, из лириков лирик. Сатуновский – просто сама моя-наша речь. Но тут разговор не о них.

Пожалуй, стихами Мартынова хотелось жить и больше, чем глазковскими. Перед всей его поэзией стоит вводная фраза, в которую тут претворилась вся пародия, рефлексия – фраза **как говорится**. Лет через 30 из этого сделают манеру вязкого ерзанья, повиливанья, унылого хихиканья, расхожего кривлянья, юродистого причитанья, подвыванья и, назвав постмодерн, устроят этому очередную бешеную раскрутку, рекламируя такой постмодерн как расчеты якобы с советским сознанием. По-моему, это не расчеты, а отрывка, такое сознание наизнанку, пародируемое механически, в спешке и в принципе безнадежно – в смысле поэзии. Мартыновское **как говорится** другое просто по природе – оно не вдруг выскочило, оно из «Реки Тишины» (хоть снимай тут кавычки), та самая лирическая образность, испытанная и упрочненная речь. **Образ, как он говорится на самом деле**. Общая речь, за которую автор не прячется и не высмеивает ее, а сливается и разделяет с ней ответственность за это **как говорится**. И говорится мощно. Заразительно. Тут мелькнуть могут и советские нотки – но не как качество самой этой речи, стиха, а как хвосты смыслов, привкусы тем, как бы внешние факты биографии. Тут есть следы драмы, и как не быть следам такой драмы на советскую тему в **нашей общей речи**. Но уж если мы о биографии автора, то самое в ней заметное – отсутствие, устроенное Мартынову лет на 25 самых советских и полная невозможность как-либо усть Мартынова Мартыновым – никакой перековке Мартынов не поддавался. Каким сам выковался, таким и оставался. Как и Глазков. И общий вектор новизны, резчайшего отличия мартыновской поэзии от фона глядит как раз не в советскую сторону явно. Просто вызывающе. А тогда, в 50-е – подавно.

Советских черточек в Глазкове, может, и не меньше. Как посмотреть. Больше того – от таких черточек отмахнешься тут вряд ли. Сов-лит общественность Глазков не посылал подальше, а пускался с ней в некоторые игры. По нужде, что называется. В то же время остро, как никто, наверно, ощущая и сознавая сам свое поэтическое диссидентство: слово самсебя-издат – глазковское слово, для собственных машинописных сборников, начиная с 1944 года. В общем, драма отношений к сов-власти, отношений с властью прожита Глазковым на совесть и уходит глубоко в природу строки, в качество ее, которое, может быть, лучше всего назвать словом «лукавство»: а что – говорим же мы о **лукавстве** Эзопа... Лукавство в самом широком смысле – «лукав человек»... Широком и разном. «Ищи постоянного, верного, / Умеющего приласкать; / Такого, как я, откровенного, / Тебе все равно не сыскать». Глазковское щеголянье откровенностью бывало и настырным, даже нудным. **Откровенность** вещь с подвохом: **открыв** сдуру аппарат, картинку на пленке не **откроешь**, а просто испортишь. Тем не менее мы понимали, чувствовали – для себя в чем-то самом существенном он остается прав: строки, стиха такого качества и правда ведь не сыскать – при всем их простецком облики.

Сейчас думаю, что такую глубинную глазковскую органику стиха и создали, сплавив все эти советские драмы-пародии, двоякости-обоюдострости сознания – российского, но не расхристанного: Сталин вам не Достоевский. А тогда мы просто почуяли, нашли в стихах Глазкова как бы центр, вершину той Большой Пародии, которой жили. И первым делом пародист Алик.

Хотя, думаю, Алик тут в свою очередь может быть благодарен одной своей старшей, хорошей и очень умной знакомой. Замечательно она обитала – по нынешним понятиям чуть не в Кремле: в мансардном этаже с полукруглым окном как раз над магазином подписных изданий в проезде МХАТа. Звали ее Ирина, и была она из тех женщин с пишущей машинкой, которым литература самиздата должна будет поставить памятник, когда отдадут должное самой литературе самиздата.

Мне так надоели мои плохие стихи и так заботили чужие хорошие, что, когда хорошие вышли наконец и у меня (58), я как-то сразу их узнал, отличил, не испытывая авторских сомнений. И удивлялся, как это на них не реагирует тот же, скажем, Аронов – да почти и никто. А вот Алик с Ириной среагировали сразу. Алик, только что отслуживший, слегка усатый, многому научившийся, но ничего не забывший, – вот, как выяснилось...

А Ирина, поприветствовав меня после трех лет, тут же схватила эти скромненькие стихи о природе-погоде и уселась с ними за машинку – распечатать пару закладок. Наряду с глазковскими. Значит, понравилось – я вроде и не просил...

Это, кажется, весной, а осенью Алик свозит меня в Лианозово, на Рабина, познакомит уже с Холиным и Сапгиром и примется за «Синтаксис» – с другим Аликом, Гинзбургом, и с большим воодушевлением. И Ирина со своей добросовестностью примется за этот «Синтаксис» ночами на той же машинке – благо живет как никто – за стенкой чердак, соседей нету. Если не путаю, соберется еще в этой мансарде компания зимы 54–55 во главе с четой Глазковых при мне разок – и больше я Ирину не увижу.

Алик женится, и станем мы с ним наперегонки выклянчивать работы у лианозовцев – да и не только у них. Но тут я скоро отстану: сводная родня сперва выгородит мне пенальчик, затем взломает и придвинет стенку, оставив до другой меньше метра. Я кинусь выручать выклянченные работы, оттащу их к Русановым и обижусь, когда жена Вера начнет разводить агитацию: Некрасов плохо содержит коллекцию, не давайте ему ничего, давайте нам... А Алик с ней не заспорит...

Потом острота спадет, женюсь и я, а Алик разведется и коллекция Алика отойдет к бывшей жене Алика и как коллекция существование прекратит, разлетится. Сейчас Алик не встает с постели и от Алика не отходит жена Люда. И глядит на Алика новая коллекция с отличными, между прочим, Немухиными – в том числе очень похожими на обещанные давным-давно мне – как раз перед Вериной злонамеренной агитацией. Недостойные коллекционерские чувства по этому поводу, когда заглядываю к Алику и Люде (реже, чем надо бы), я в себе подавляю. В данном случае молодец Володя Немухин, что скажешь. И художник же. Но это и в других случаях. Это все знают. В том-то и дело.

Давно умерла Ирина, а дебаты наши всё не стихают – или это только мне так кажется? За что болеем – за «Хулио Хуренито» или за «Проточный переулок»? Кружков Сережа – за Хуренито. Ирина, я – за Проточный. Алик нет-нет да угольков и подкинет... (По-моему, что Эренбург все-таки и писатель – показывает как раз «Проточный». Бывал, во всяком случае, писатель, мог быть. Поэт, хоть стихи Эренбурга явно не годятся. У него другие стихи, спрятанные: абзац = верлибр. Газетная школа и она же Гран Стиль, французская поэзия, которую, похоже, он и правда чувствовал – насколько я могу догадываться, сам французского не зная. Абзацы такие попадают в «Падении Парижа», даже в «Буре». Французам по-русски вообще как будто ведь повезло меньше всех – самое яркое и близкое явление – наверно, Гена Айги, но он, во-первых, все-таки не перевод буквально, а во-вторых – явление специфическое, гениально-героическое, чем я уже восхищался печатно, но героическое оно и есть героическое. Эренбургов-

ские же абзац-верлибры кажутся как бы нечаянными. И нормальными, как экспрессионизм. А так перепад краев черной дыры Эренбург обозначал, может, и резче всех, зато и штопал потом дыру мемуарами успешней других. Для себя – точно. Хуренито же смущал, сбивал – самая конфета для пародии, как же, самый сюжет, самый первоначальный, рисковый, знаменитый Эренбург – еще и с предисловием БУХАРИНА – самая контра, а читать чего-то тянет не очень...

Понятие, что «великая провокация» = «жареный лед», у нас с Аликом еще было едва ли, но ощущение уже шевелилось.

И за кого болеем – за Зощенко или Ильфа-Петрова?.. Это я и сейчас не скажу, хоть болеть буду уже не с тем азартом. Но буду. Зловредное советское бесстилье вызывало жажду цельности стиля и метода. И тут Зощенко явно выходил вперед. Надо сказать, тихоней Ирина не была. Отнюдь. Просто умница.

– Понимаете, ребята, но они ведь вот что умели: «...И совершенно распоясавшиеся извозчичьи лошади копытами цокали совсем уж нарочно...». Вот кто еще так мог? А?.. А вы говорите пародия...¹³ – А вы не говорите? – Ну, мы, мы... Мы говорим...

Ну а что поделаешь, принадлежа к этой цивилизации и к этому миру, и с ушами принадлежа этому московскому весеннему вечеру – совсем другому, не ильфовскому, без лошадей и другому, чем сейчас – с разом, рывком, в густую синьку красившими воздух обычными лампами накаливания в уличных фонарях... «Над Москвою небо сине-сине...» И что поделаешь – вечеру, однако же, вот, и блоковскому, и маяковскому, и ильфовскому, разом и узнаваемому – так, как будто с детства рос в Москве лошадей, а не в Москве эмок, полуторок и трехтонок...

Не только принадлежа – живя, дыша, бывает, захлебываясь – другой раз цивилизация идет и не в то горло – пожалуйста: Вознесенский – но без такого твоего захлеба, как после войны газировкой, вжитости, а не просто присутствия, у самых твоих умных замечаний насчет этой цивилизации, пожалуй, не будет того свидетельского веса. «В траве кричала мелкая птичка сволочь...» «И звезда с звездой говорит по азбуке Морзе» – вот как тут не **принадлежать**? И принадлежать тянет еще и тем, что прочно это. Крепко. Защищено так защищено. Заделано в каленое острие. А, может, само острие из алмаза? Того самого **кристалла**? Само себе **пародия**, само себе и оригинал.

Блок боится Олейникова, а Мандельштам – не боится. Зощенко не боится Архангельского – как мы видели. Пускай Горький боится... Зощенко же кого бояться. Но и Ильфу не приходится бояться Зощенко, хоть ему скорей было бы за что опасаться – такое, чего у Зощенко нету. Есть свое, но другое. Глазков никого не боится. Да и Мартынов готов ко всему. По-своему. Это школа, закалка, опыт Эпохи Большой Пародии, или, если хотите, Большой Катастрофы – самой большой, центральной для нас в этом веке. Будем надеяться, хоть за оставшееся до конца века время ббольшая случиться уже не успеет. Хотя... <...>

¹³ Лучше уточнить лишний раз: не в том дело, конечно, что писал Глазков и пародии буквально. И не в том, чтоб видеть во всех советских стихах Глазкова непереносимое преднамеренное пародирование сплошь: похоже, В. Казак просто хочет думать про нас слишком хорошо. 70 лет **строгого** режима – не 12. А в том, что внутри строки, в природе речи, хочешь-не хочешь. И еще в том, что в 54 году «Придет эпоха во Вселенной, / Что станет жизнь прекрасна. / Оно, конечно, несомненно, / Но многое неясно» читалось как диссидентство мало чем хуже «Хроники» в 74. – *Примеч. автора.*

Автобиография

Написано, насколько нам известно, для неосуществленного издания сборника стихов в «Новом литературном обозрении», т. е. может быть датировано второй половиной 2000 – началом 2001 года. Публикуется по файлу из компьютера автора.

Родился в 1934 г. Учился в МосГорПединституте 1955–1960 (диплома нет). Там же серьезно занялся стихами. В 1959 выступил в «Синтаксисе» Гинзбурга. Тогда же попал в Лианозово, и с тех пор «заболел» неофициальной живописью не меньше, чем поэзией, но уже не как автор, а как зритель. Работал вне штата в редакциях (в основном детских) как редактор, консультант, рецензент. В 1967 году женился на А.И. Журавлевой. Работая в ВТО (до середины 80-х), издали с ней книжку «Театр Островского». С 1973 – в Московском профкомитете литераторов. С середины 60-х печатаюсь за рубежом – в переводах и тамиздате. В самиздате после «Синтаксиса» – в питерском «37» (1978 год), «Граале» (80) и «Архиве МАНИ» (81–85). По существу, первая «настоящая» публикация стихов здесь – в «Дружбе народов» (89). Можно считать, и последняя. Устраивал выставки работ художников (в основном «Лианозова» и «Чистых прудов»¹⁴) в Новосибирске (1990), в Бохуме и Бремене (1992), и в 1991 и 1992 – две программы в литмузее на Петровке, прессой проигнорированные практически полностью – при том, что лично деятели этой прессы на этих выставках-вечерах бывали...

На средства друзей выпустил «Стихи из журнала» (91 г. – из журнала «37»), «Справку» (1992 г. – свод напечатанного по-русски за рубежом), «Пакет», «Портрет Инфантэ¹⁵» и «Мир Пономарева» (96), «Дойче Бух» (1998) и «Лианозово» (1999). До лета 2000 года публиковался в интернетном russ.ru¹⁶. В настоящее время вишу на сайте Александра Левина (levin.rinet.ru) и остаюсь ему признателен.

¹⁴ В данном случае имеются в виду Э. Булатов, О. Васильев, И. Кабаков.

¹⁵ Написание фамилии Франциско Инфанте варьируется даже в подготовленных самим художником книгах; у Некрасова обычно (хотя и не всегда) – «Инфантэ». Эта вариативность сохраняется и у нас, в каждом случае мы ориентируемся на конкретный источник.

¹⁶ Продолжал печататься и позже; подробнее см. об этом у Е.Н. Пенской в настоящем издании.

Письмо А.И. Цюрупе

Письмо к школьному другу Алексею Игоревичу Цюрупе, с которым Некрасов всю жизнь переписывался (вулканолог Цюрупа уехал на Камчатку), видимо, написано в 1990-х: точнее датировать не можем, потому что упоминаемого рассказа Цюрупы мы не нашли, а сам Алексей Игоревич, к которому мы обращались вскоре после смерти Некрасова и незадолго до его собственного ухода (в 2011 году), не смог, к сожалению, объяснить нам, о чем идет речь.

Публикуется по машинописной копии (с купюрами) из личного архива; сделавшая копию Анна Ивановна Журавлева сопроводила ее следующим пояснением: «Письмо Алексею Игоревичу Цюрупе, посланное Севой по поводу рассказа Цюрупы, опубликованного в “Камчатской газете”, в котором действие происходит в послевоенной Москве и выведены их общие одноклассники. Я перепечатала письмо, поскольку оно, по-моему, имеет мемуарный характер и мне было бы жаль, если бы оно пропало. – А.И. Журавлева».

Цюрупа, а ты, по-моему, толковую вещь произвел. Конечно, кто так правит, таких не бритвой режут, а совковой лопатой. Первая половина, по-моему, совершенно в порядке, и удивительно живая, правдивая какая-то. Вторая – школьная – как будто чем-то отличается, даже не понять – чем. Вроде и всё нормально, но что-то, похоже, все-таки уходит – по сравнению с началом. Интересно просто – что бы это могло быть? Может, эта часть хочет быть возможно короче, просто как бы элементом конструкции, только для выхода на концовку? Твою, конечно, а не этого правщика. Может, наоборот, чуть не хватает еще какой-то школьной красочки, и по сравнению с городом школа слишком общая? Краски, ну вроде булыжника, на который можно тогда было выскочить из трамвая? Так-то вроде всё по делу, и вроде так именно и надо – но школа¹⁷ почему-то не очень, по-моему, узнается.

Не исключено, правда, что это только мои субъективные впечатления. Понятное дело, воспоминания у всякого свои. Хотя в том, что касается города, семьи, самого Лёни, тут наши впечатления, выходит, совпадают. Вот мне что кажется – цепко идет, когда ты пишешь точно о себе, ни о ком ином. А когда они беседуют с Антоном, ты все-таки чуть отпускаешь: сама по себе беседа написана вроде и бойко, умело и лишнего не видно – но это вообще беседа. Вполне сочиненная, хоть и сочиненная вполне нормально. Что за Антон, я не знаю, а того Лёни здесь, в общем, не чувствуется. Как и времени, и школы, и всякой такой специфики. А если ты в письме намекаешь, что Антон – это могу быть и я, хоть отчасти, – то это ты извини. Это уж нет. Был я куда глупей, совершенно беспомощный и не то что «домашний», а я бы даже сказал – постельный... Большую часть времени валялся с температурой и до того привык, что другой раз сам себе ее и натряхивал... И фантазер был, естественно, вроде тебя – хоть и не столь развитый. Холод, мгла какая-то, читаю Гоголя и страшно ужасно.

Еще небось и валяюсь. С тех пор не очень люблю, когда в комнате нет верхнего света. И занимались мы с тобой пиротехникой. Причем припасы были твои. Вот это я помню. Пони-маешь, сюжетный ход – особое дело, он-то может быть и придуман, если только он придуман удачно. У тебя, по-моему, удачно, толково. Но насколько он удачный и годится – это, наверно, видно именно по тому, насколько он не требует лишнего придумывания и надумывания. Второй же разговор – когда уже после войны и т. д. – всё же, по-моему, просто длинноват. Тут опять-таки особо не выглядят ни ты, ни Маркович¹⁸... а для рассказа в целом лучше было бы ему быть возможно кратче. Как раз тот случай. – А помнишь такого-то? Еще бы Лёне не

¹⁷ Подробно о московской 170-й школе (теперь 1278-я; Петровка, 23/10) Некрасов говорит в интервью, данном В. Кулакову (см. ниже).

¹⁸ Имеется в виду соученик, эмигрант серб Милен Маркович; о нем упоминает и учившийся в той же школе Дмитрий Урнов в своей книге «На благо лошадей...» (М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2011. С. 609–610).

помнить... А помнишь, говорили – поймали шайку... Это Лёня не помнил. – Так вот... и т. д. И странное дело, как ни старался Лёня вспомнить, и т. д., как у тебя в письме.

И еще: почему тот же трамвай и булыжник так оживают? Думаю, потому, что они функциональны, при деле, сцеплены с рассказом, т. е. задействованы, как выражается писатель Богомолов¹⁹, сами по себе как бы и невзначай, а не демонстрируются специально и старательно (кто-то может и продемонстрировать так, что лучше некуда, но, видимо, этот «кто-то» – все-таки не ты. По крайней мере в этом рассказе). Крошка, которую учительница с пальца слизывает, вроде и всем хороша, а все-таки она здесь отдельно и специально. Разница?.. Разница... Не помню, кстати, черный хлеб на эти «завтраки» (особенно во вторую смену хороши бывали эти завтраки – часов в шесть), помню бублики с ириской. Черный хлеб вроде бы драматичней и даже «военнее» но представляешь, как бы за ним глядеть надо было, чтобы не воровали? В магазине каждый покупатель в оба глаза за всеми следит, сам... Нет, завтраки бывали штучные. А крошку ты все-таки сочинил, хоть и не плохо, не спорю.

Еще чего помню? Везде чернила. «Непроливайка» стояла у каждого или у одного на парте. Из белых, фарфоровых, не встряхнешь, и в них всегда гуща. Разъемные, такой формы, что твои вулканы, из довоенной пластмассы (элегантная была вещь), всегда текут. Когда засохнет, очень красиво отливает на пластмассе. На тетрадках, книжках – уже не так красиво. Сидят в пальто, батареи еле дышат. Голова болит – это обязательно. Тесно, народу много, а проветришь не больно-то. Уроки, на которых учительница Марья Тимофеевна просто читает книжку. В основном «Марку страны Гонделупы»²⁰. Абажуры эти белого стекла выраженного желтого цвета – вечером напряжение сильно садится. Кажется, что светло, потому что в классе абажуров много – шесть или восемь. Но горят не все, конечно. Поэтому читать-писать пересаживаться надо. Возможно, что отсюда и чтение вслух. Но домой не очень тянет – дома не светлей (у нас во всяком случае – лимит), на улице-на лестнице и совсем темно, затемнение (отсюда и пиромания, и мечты об электрическом фонарике. С такими патрули ходят, на пуговицы, на ремешках, и есть уже немецкие – трехцветные). Про тепло и говорить нечего, и вся жизнь, считай, только на кухне – там горелочки горят. Но тоже еле-еле и не всегда – вечером особенно. Ожидается Саратовский Газ. «Выполним в срок боевой приказ – дадим Москве саратовский газ» – окно ТАСС. И точно напротив. На Петровке. В «Метрополе», где сейчас «Антиквар» магазин, – прописи дают. Я успел, взял и, помню, был доволен. Любимая игрушка, ценная вещь – спички. Иногда перепадают и капсюли. Их насаживают на ручку или (совсем интересно) на стрелу с иглой. Цюрупа хвалится, что салютует капсюлями на ручке, когда на улице салют. Пацаны стреляют из ключа с гвоздем. Я никогда не умел. Пленку жечь, чтоб воняло, – это я обучился. Иногда от Цюрупы перепадает черный порох. Реже (не помню от кого) цветной, ракетный. Бездымный горит неинтересно. Его лущат из гильз. Большие гильзы (ПТР не то 20 мм) годятся, чтоб налить туда керосин, напихать дряни (ваты или марли) и, прицепив такое дело проволокой к пуговице, считать, что ты теперь с фонарем. А что – кроме шуток, у нас в подъезде, например, пока залезешь на наш этаж – вполне годится. Только надо еще сзади приделать отражатель из консервной банки: зайчика пускать – фонарь. Никаких сомнений. Мощностъ зайчика можно повысить, натерев жесь ртутью. Откуда ртуть брал – уже не помню, но боюсь, что мог расколоть и градусник. Беда, что ртуть сразу тускнеет. Так я вплотную подошел к идее амальгамы, но тут матери окончательно надоело, и она купила – в смысле дала мне денег купить – настоящий фонарь. Настоящий фонарь продавался там же, где настоящий керосин, – у Петровских ворот. Там и сейчас хозтовары. И был он чисто военное изделие – порядочный сундучок с какими-то батареями, которые мигом сели и, конечно, нигде такие больше не про-

¹⁹ Ироническое упоминание о Владимире Осиповиче Богомолоче, в военных романах которого этот глагол – возможно, профессиональный термин – попадает нередко.

²⁰ Имеется в виду повесть С. Могилевской «Марка страны Гонделупы» (1941).

давались. Вещь была уникальная и одноразовая. Но прежде чем они сели, я успел-таки пустить зайца на дом актеров, башню о четырнадцать этажей, что на улице Станиславского, проходя с матерью аж по Козицкому – возможно, что и к Цюрупе. И потом года три-четыре старался убедить мать, что и она это видела. Кажется, так и не убедил, теперь и сам сомневаюсь. А проверить сейчас трудно – надо тот фонарь и то затемнение.

В ходу были кресала – у меня даже сейчас есть такое, только раньше я, по-моему, лучше умел добывать огонь – и зажигалочки из гильз. Вот такой у меня не было. Всем этим орудовали раненые (по-моему, их называли тогда инвалиды), которых вокруг Петровских ворот было несметно – сразу из двух больниц – (тогда, очевидно, госпиталей) – что на самих Петровских, и на углу Петровки и Москвина. Спички же стоили коробок – пятерка. Мороженое – тридцать рублей. Пирожное – пятьдесят рублей. Единственный доступный в свободной продаже продукт назывался морс, он же (если не ошибаюсь) впоследствии – газированная вода. Это уже году в 44. Мать утверждала, что делают его из марганцовки с сахарином. Насколько помню – похоже на то. Помню, что много не выпьешь. И помню – пьешь, а есть хочешь... А как коптилки делают – это я в эвакуации понял, там другого света обычно не было... Но там коптилочки другие – комнатные, аккуратные, пропускают трубочку в круглую пробочку, в трубочку – фитиль, пробочку – в банку, в банке – керосин. А банки и сейчас такие делают – под чернила для авторучек. Тогда такие были из-под горчицы. Помню, сколько раз пытались к такой коптилке приделать что-то вроде лампового стекла – и всякий раз безуспешно. Коптилка и есть коптилка. Была она и в Москве, и примуса, понятно, и керосинки – газу и электричеству научились не доверять. Да часто их просто и не было. У нас, помню, керосин стоял в обычном бидоне для молока – литра на два-на три, прямо в комнате. Употреблялся керосин и для выведения вшей. Не очень успешного, насколько помню.

А в общем на твоём бы месте я бы попробовал вот что.

I. Попытаться довести рассказ до еще одной, самой-самой последней кондиции. Конечной. Чтобы всё убрать из второй части, без чего можно обойтись. Только чтобы связно было.

II. А дальше пусть он лежит, лежит и потихонечку обрастает – только сам, без малейшего авторского нажима и самого качественного сочинительства – сам, ровно насколько сам захочет. Понимаешь? Он вполне, по-моему, может быть просто больше, богаче, он может и в принципе черт-те сколько вобрать в себя и того времени, и той Москвы, и чего еще – неизвестно. Только если весь будет той же природы, что первая часть. Тогда будет естественно, со временем, принимать в себя той же природы приращения. А чуть нажмешь – и придется опять сочинять что-то. Вставлять, конструировать и т. д. Может, и хорошо сочинится, но, по-моему, все-таки лучше не стоит. А лучше не упускать тот уровень, какой уже есть. Вот это главное. Потому что тут у тебя действительно зацепилось, на мой взгляд, как не часто бывает. И ты, главное, думай, как не сбить, не испортить. А ничего не прибавится – не беда, дело не в объеме. Там уже есть что-то, что никуда не денется. Он уже и так есть, рассказ. Я только на тот случай, если он сам захочет быть побольше. Чтобы дать ему шанс. А вообще-то он и не рассказ, наверно, мог бы быть, а, что ли, очерк. Наподобие, скажем, «Печников» Твардовского. Впрочем, термины – это уже неважно.

(Здесь идет бытовая часть письма. – А. Ж.)

Да, вот – если хочешь, чтобы повеяло Марковичем, может, пригодится тебе мемуар Юлика²¹ <Остринского, школьного друга Некрасова>. Как бы мемуар – как Маркович рассказывает о своей бурной жизни где-то в пятом классе: – Ну, я сел, поехал. Тут девочки: – Милен, Милен! Прокати, пожалуйста! Я так тормознул: – Прошу садиться, девочки!.. Автомобиль

²¹ Юлий Самуилович Остринский – школьный приятель Некрасова, военный строитель. Как и другой школьный товарищ, Виталий Бедев, по крайней мере до 2003 г. регулярно бывал на днях рождения Некрасова; вспоминали, как играли в футбол во дворе на Петровке.

педальный, но большой. Едем, а навстречу настоящий, «Линкольн», и прямо на нас! Гудит! Девочки кричат: Ай! Милен, сворачивай!.. А я – ничего... Там тоже орут: – Хулиганы!.. И как мы стукнемся! Р-раз! Ну, мне-то что – мой автомобиль игрушечный, а у них весь мотор – набор, и оттуда выскакивают – смотрю, а там завуч, директор и Лариса Александровна... Не веришь – спроси у нее! И вот еще, наверно, почему ждешь, что рассказ чем-то дополнится: совсем не оговорено и не учтено, что разъезды Лёни по Москве – это, конечно, лето – во всяком случае какое-то каникулярное, внешкольное время и ощущение. А потом вдруг раз – и школа. Стало быть, не такой уж он «домашний», а и школьный тоже. Неплохо бы как-то связать, хотя бы формально, какой-то фразой. А в общем, дело не в формальности, а в том, что и по существу «школьный» все-таки написан как-то отдельно, несколько он не тот, что самый живой – «домашний» и уличный. А как такой становится «школьным», с кем из класса водиться начинает – это ведь очень интересно. А шпаны, если помнишь, особенно густо было всегда возле кино.

Еще помню, чем Маркович меня восхитил, – еще в школе, классе в восьмом, раньше – я чего-то там сослался на него, а он: «А я врал!» – и облизнулся с довольным видом. А ты пушки из катушки не помнишь? Их кто-то выдумал, не то ты, не то я. Спичками пшикали, порохом легонько палили. Я уж и мать так приучил, когда была в хорошем состоянии – не возражала. Больше того – и ей нравилось (небось, пиромания от затемнения у всех развивалась), и вот она как-то и соседей на кухню созвала посмотреть, как Сева делает – пшшик – и очень красиво. А я поставил эксперимент: порох не в катушку, а в железочку, и конец слегка забил – цинком, что ли, помню, от тюбика – еще пытался рисовать маслом. И кка-ак... На кухне и при общем собрании. Представь и опиши. Но это очень трудно, Цюрупа.

<М.Е. Соковнин>

Наброски воспоминаний публикуются по машинописи из архива Некрасова, не датированы. Не исключено, что это было написано в 1977–1978 годах, когда Н.К. Боков, печатавший М.Е. Соковнина посмертно в альманахе «Ковчег», настоятельно просил Некрасова составить его биографию (см. письма Бокова Некрасову об этом в настоящем издании).

Вторая часть – фрагменты из многочисленных машинописных набросков предисловия к «Рассыпанному набору» (1994), не вошедшие в опубликованную редакцию и, видимо, написанные в начале 1990-х годов (границы между фрагментами в наборе обозначены астерисками). Опубл. нами: Русская драма и литературный процесс: К 75-летию А.И. Журавлевой. М.: Совпадение, 2013. С. 154–160.

С Мишей Соковниным мы познакомились лет двадцать назад на собрании институтского литобъединения. Был тогда такой Московский городской педагогический институт имени Потемкина, и оба мы в нем учились – только я на дневном отделении, а Миша на вечернем и на курс меня младше²². Выступал на литобъединении поэт Виктор Боков²³. Дело было в обычном, стандартном классном помещении с черной доской и окнами слева, и окна слева тоже были в основном черные. Впрочем, объединение собиралось по вечерам, на улице зима не то осень и за окнами, естественно, было темно. Народу собралось побольше обычного, но не так много – человек двадцать, наверно. Почему так, не помню – может, накладка вышла, может даже, скромности пожелал и сам выступавший. Иные разы (правда, позже) собиралось и по две сотни. Так что, возможно, наше объединение под руководством маститого тогда аспиранта²⁴ еще не успело набрать той силы, а может, даже не добрал еще той известности и сам Виктор Боков. Всё может быть. Так или иначе, а обстановка сложилась, что называется, спокойная и деловая. С точки зрения выступавшего, возможно, даже и слишком. Дело в том, что всякое нормальное литературное объединение стоит на двух ногах: 1) зачитывается художественное произведение и 2) производится обсуждение зачитанного художественного произведения, и на обе эти ноги наше собрание – довольно дружное, но не очень-то мощное – в ту пору явно прихрамывало. Своими силами с хлеба на квас перебивались довольно долго, как можно основательней перемысли кости всем институтским поэтам и прозаикам, какие только осмелились на выступление (есть даже предание, что захаживал в те времена к нам на огонек и один прославленный ныне пародист, а тогда студент худграфа²⁵, но сам я его не видел – за что купил, за то продаю), и незаметно основательно сглодали таким образом собственную первую, так сказать, художественную ногу – обсуждать стало нечего. Зато заточили зубы и вошли во вкус. Поневоле рассудили, что лучше уж одна нога – критическая – чем так ни одной – да и факультет наш как-никак назывался историко-филологический – и стали приглашать в гости кого поаппетитней. При этом порядком пообнаглели, особенно я; помню, я всегда считал себя стеснительным, а тут готов был говорить и говорить, пока не остановят (и кажется, иные разы что-то в этом роде бывало, бывало...). Впрочем, руководству нашего объединения в лице маститого аспиранта

²² Из набросков к предисловию для «Рассыпанного набора»: «...Мы познакомились – Миша был на II курсе». Соответственно, знакомство могло произойти около 1958 г.

²³ Виктор Федорович Боков (1914–2009), известный советский поэт, был, между прочим, отцом художника Константина Бокова, вещи которого есть в коллекции Некрасова; в рабочих материалах Некрасова остались посвященные Константину Бокову лирические стихи, не вполне завершенные. Виктору Бокову приходился племянником писатель Николай Константинович Боков, переписка которого с Некрасовым публикуется в настоящем издании. Связано ли выступление старшего Бокова на ЛИТО и знакомство младших Боковых с Некрасовым, мы не знаем.

²⁴ Имеется в виду Владимир Ильич Лейбсон. О нем подробнее см., напр.: *Сухотин М.* Конкрет-поэзия и стихи Всеволода Некрасова // Памяти Анны Ивановны Журавлевой. М.: Три квадрата, 2012. С. 645–646.

²⁵ Александр Александрович Иванов закончил факультет рисования и черчения Московского заочного пединститута в 1960 г.

только того и надо было, и меня аккуратнейшим образом выпускали на всех гостей-писателей, и всё шло, как будто так и полагается. Так же оно было и в тот раз. Видимо, незаметно для себя я уже привык считать себя немножко мэтром и слегка даже опешил, когда получил отпор. Не Боков, нет, а какой-то новый, незнакомый и удлинённый какой-то весь человек в очках стал говорить что-то такое наперек и очень решительно. Мы тут же сцепились и так забрались в дебри общего стиховедения, что маститый и ядовитый аспирант вынужден был напомнить нам и всем собравшимся, что на повестке дня у нас – ныне здравствующий и более того – присутствующий здесь Виктор Федорович Боков... Сам же Виктор Федорович, подводя итоги, высказался, помнится, в том смысле, что хорошо, мол, что ребята всё это знают, только ничего этого знать не надо, а надо писать себе стихи, как лучше, и всё. И был прав, конечно, хоть и с оговорками. Речь же шла у нас скорей всего о пиррихиях.

Прокурор завел со следователем специальный разговор о пиррихиях. Вообще, будучи извлечены из дебрей, мы, помнится, враз друг дружку в чем-то зауважали. И даже почти наверняка могу сказать, в чем именно: мы выяснили, что мы прочли «Символизм». Тут еще надо помнить, какой это был год. Год был 56, а может, 57, и «Символизм» в читальном зале Ленинки выдали мне за пару лет до того, не раньше, чем я принес бумажку, что злобный символизм при всем его идеализме все-таки нужен мне, советскому студенту, для моей курсовой работы по стиховедению²⁶. Так оно и было с работой (работа получилась – хуже некуда), но бумажку в деканате писали, помню, без радости и с некоторым даже омерзением. (Что тогдашний наш декан товарищ Бондаренко лично читал какие-то символизмы – мысль дикая. Нет, конечно.) <...>

А вообще-то жилось тогда в вузе нам еще не так плохо, и когда-нибудь стоило бы рассказать поподробнее – как именно²⁷.

* * *

Жанна Д'Арк, рев толпы: «Ведьма!.. Ведьма!.. Она ведьма!.. Кто дал ей крест?! Отобрать крест!.. Помело!.. Она ведьма!.. Дайте ей помело!..» Пауза и удивленный рев: «– Ыыыыыы...!» Очередная пауза и одинокий жалобный голосок: «– Ваше преосвященство! А Жанна Д'Арк на помеле улетела...»

Читают Соковнин с Мальковым²⁸, голосов примерно десятком. Но это уже начало 60-х, а первобытный «Дымоход» было что-то вроде стенгазеты. И если не путаю, уже в нем появилось слово «Вариус»...

Говорят, звезда кино – это такое обличье, которое тиражируется само. Гуляет себе звезда по улице, и то и дело на себя, звезду, натыкается... Значит, обличье нужно, необходимо. Универсальность и неизбежность «Вариуса» доходили до меня долго, постепенно и основательно. «Вариус» и писался, складывался, сказывался тоже, по-моему, как-то постепенно и малозаметно, при том что определился изначально (само слово к моменту нашего знакомства уже

²⁶ В личном архиве сохранилась только рукопись работы не «по стиховедению», а о звуковых повторах у Баратынского, почти наверняка курсовая. Научным руководителем Некрасова был М.В. Панов.

²⁷ Подробнее Некрасов действительно рассказал об этом в интервью В. Кулакову в 1990 г. (расшифровка публикуется в настоящем издании).

²⁸ Александр Павлович Мальков (1939–2009) – успешный советский художник-сценограф, школьный товарищ и соавтор Соковнина, прежде всего в «Вариусе». Список текстов в «Вариусе», атрибутируемых только Малькову, см.: *Соковнин М.* Проза и стихи. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма Германа Титова, 2013. С. 327–328. Сохранилась видеозапись вечера памяти Соковнина в Литературном музее на Петровке (1990) с выступлением Малькова. Снимки, на которых Мальков сфотографирован вместе с Соковниным, и воспоминания о Малькове см.: Михаил Соковнин в фотографиях Константина Доррендорфа. М.; Иерусалим, 2017. Друзья вспоминали о позднейших попытках самостоятельного литературного творчества Малькова в области большой прозаической формы; глухие упоминания об этих попытках есть в письмах Н.К. Бокова к Некрасову, публикуемых в настоящем издании.

было, насколько помню) и был как бы задан, предопределен извечно. Сперва, по-моему, наметилась, осозналась какая-то легенда и интонация, а потом не спеша, сама собой стала воплощаться в словах и фразах. Он писался постольку, поскольку сказывался, не быстрее, сказывался как-то сам, по-моему. И не знаю, успела ли испытать это ощущение сама «звезда», сам Соковнин, но для меня «Вариус» понемногу стал действительно «книгой жизни» – отовсюду слышится, везде прорезается. И характером фразы, и вариусным раскладом обстоятельств. Он не написан был, а бывал отмечаем, извлекаем по мере хода времени из жизни и речи – и теперь уже навряд куда денется: он есть на самом деле. Писали-то сперва двое, а еще раньше и вовсе, как я понимаю, четверо. А потом один за двоих, четверых, за всех, наконец. Помните, у Ильфа с Петровым: «Вдвоем писать было не вдвое легче, как можно подумать, а вдесятеро трудней»²⁹ – потому что второй контролирует, и не как-нибудь, а с пристрастием. Когда один писатель – другой читатель. Такой придира-читатель необходим, но редкий писатель вырастает в читателя сразу, да и вообще мало кто по-настоящему дорастает до того, чтоб по-настоящему быть читателем самому себе – как Мандельштам. А вот Евгению Петровичу Бачею или Александру Михайловичу Жемчужникову здорово повезло: у них такой читатель был с самого начала. «Пока Жюль бегают по редакциям, Эдмон стережет рукопись, чтобы не украли знакомые»³⁰, – в смысле пока Евгений пишет, Илья соображает. Напишет Александр, Алексей прочтет. Потом они могут поменяться. Хотя Вариус больше, думаю, похож на Пруtkова, чем на Ильфа с Петровым – и стилизованностью, особой манерой, архаичностью. И универсальностью, энциклопедической разножанровостью. И особым чувством текста как длящегося действия, ситуации, как твоего общего с читателем положения, общения с ним. Того самого начала, которое стали называть концептуализмом, – только Соковнин вряд ли и услышал этот термин.

²⁹ «Писать вдвоем труднее, сложнее, чем одному» («Как мы работаем»).

³⁰ «Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегают по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые» («Золотой теленок»).

ничего
ничуть
не чудится
чудь
мишка же говорил
чуть
станет ~~как~~ ~~маленький~~ ~~зачем~~
чудь выходить
всё
А так (всё) и выходит
/глубоко глубоко
чудь
под землю ушла
высоко высоко
литва
с неба упала –
русск. нар, песни/
no del no shiro

Рабочая машинопись. Архив Вс. Некрасова

Нам с Мишей часто нравилось не одно и то же. Мне Рабин, ему – Кропивницкий дед³¹ и Валя Кропивницкая. Они и мне нравились тоже. Тоже, но не так же... Мне – Маяковский, а ему ни под каким видом. Блок, только Блок. Ладно бы Блок – у него вообще упорным, программным был пиетет перед Серебряным веком, стихослагательством, которого я рано стал опасаться – при всем к нему тогдашнем почтении. Всё это прямо выходило в практику, и, по моему, долго и здорово Мише мешало.

Интересно, что со своим слухом-ухом на речь он и сам не мог не чувствовать, что стихи не выходят, что-то мешает. И не «что-то», а, в общем-то, одно и то же: сильно художественное намерение. Но упорствовал в эстетической установке, тем более, что было же в этих его стихах и много чего интересного, но... Но вот не так. Пожив какое-то время на виду, стихи отходили в тень. Создавались другие – и тоже интересные, и опять что-то мешало... Но чем дальше, тем больше из стихов прорезался «Вариус». Сперва миниатюрами («жила-была же-а-бе-а»). Потом

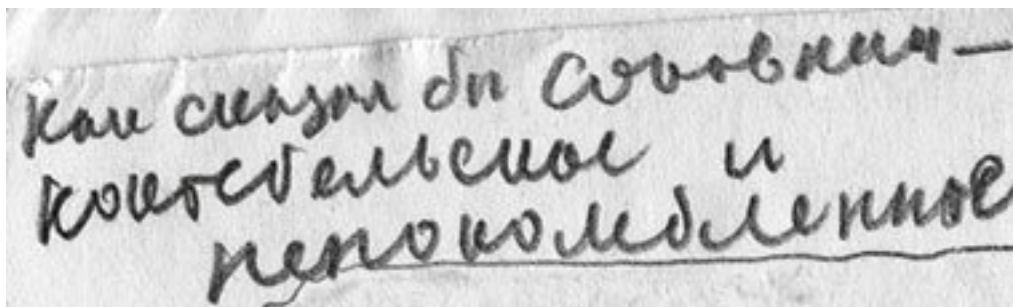
³¹ То есть Е.Л. Кропивницкий.

фрагментами, фрагменты стали отторгать «поэтичное», очищаться от вторичного, срastаться между собой – и получился первый предметник «Болдино» (год, помнится, 67).

* * *

Миша выходил на Михаила Соковнина, становился Соковниным при мне, выходил на себя и таким путем доходил до меня. Поэтому, думаю, я сам по-настоящему стал понимать, насколько он мне важен и нужен, с порядочной задержкой. Лет, может, на десяток. Осознавать, по крайней мере. И помогли мне в этом друзья, Олег с Эриком.

К тому же сама манера казалась сперва несколько причудливой, нарочитой. Самому хотелось чего-то попрямей, поострей, понепосредственной. Насколько манера была органичной и даже просто необходимой самому Мише, тоже доходило постепенно.



Автограф. Архив Вс. Некрасова

И вкусы разнились, иногда сильно. Взгляды иной раз тоже. Не так, наверно, взгляды, как отношение к собственным взглядам – мне всё чудилось некоторое легкомыслие, что ли, в Мишином отношении к собственному его, Миши, мнению. Думаю, ему просто всё и вся было Вариус, сплошной Вариус (по крайней мере, хотелось, чтобы так было) – в том числе Вариус и идеологический. Такой Вариус, где сам он был бы не автор, а герой. А меня это как-то все-таки пугало. Миша был, конечно, очень артистичный, хоть и по-своему. Из актерской семьи³², из Бахрушинского музея³³. А я все-таки не очень.

Так что общего между нами было вроде бы и не так много. Зато существенного, самого для нас существенного. Хотелось вылупиться. Очень хотелось, необходимо было – и тут и он и я друг дружку хорошо понимали. И старались помогать один другому, потому что каждый очень близко, почти как свое (при всех упомянутых выше различиях) видел то, что другой делает и как он это сделал – получилось или не очень. И каждый был другому нужен, необходим даже. Наверно.

Но это касалось в основном стихов. Тут я, можно сказать, крутился целый день на кухне и лазил во все Мишины кастрюльки. Особенно памяtnы бесконечные перемонтировки «предметников» – действительно, неуклонно улучшавшие текст. Я ведь занимался тем же самым: первый раз употребил ножницы (буквально, насколько помню) в 61 («Кто есть что»), а потом лет десять, больше, ладил длиннющий свертхтекст, «ритмический словарь» – в конце концов разошедшийся по эпизодам. Ладил так и эдак, и Миша тоже как-то участвовал. Во всяком случае, был в курсе.

³² Евгений Николаевич Соковнин (1904–1973) – оперный режиссер, в 1950-х работал в Мариинском театре; Ольга Михайловна Мартынова (1903–1981) – историк балета; «дед со стороны матери – Михаил Иванович Мартынов – был артист Московского Малого театра. Он умер задолго до рождения внука (1928 г.)» (Мартынова О.М. <Записка о предках М.Е. Соковнина> // Соковнин М. Проза и стихи. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма Германа Титова, 2013. С. 325–326).

³³ Соковнин работал в ГЦТМ им. А.А. Бахрушина с 1960 года как лектор; в 1968 году ушел со штатной должности.

Это всё так, но вот «Вариус» я помню уже как вполне готовое изделие, понемногу прибавлявшее в объеме. Это был уже сложившийся Соковнин, коренной-матерый. Который был всегда, ещё в школе – а школа ведь и есть то, что было всегда, даром что в школе мы знакомы не были и быть не могли. Школьная компания – и этим всё сказано. Все хорошие люди, хоть я их знал мало: Костя Доррендорф³⁴, Алексей Малащенко³⁵ и, конечно, соавтор «Вариуса» Александр Мальков. Но до «Вариуса» был еще «Дымоход», где, как я понимаю, соавторами были практически все перечисленные – на этапе, когда еще и не поймешь – где, кто автор-соавтор, а кто читатель. Котел общий и этап, наверно, самый ценный. Во всяком случае, для «Вариуса», который тогда еще был «Дымоход». А может, и для Козьмы Пруткова... Не то школьный рукописный журнал, не то домашний. Помогал, как я понимаю, огромный комод – самый первый, старинный советский магнитофон «Днепр». Машина серьезная, с огромными бобинами, а катушками, где боковины держат пленку, почему-то пользоваться не полагалось. Эта причуда дорого обошлась «Дымоходфонфильму», от которого, к сожалению, ничего не осталось. А был «Гамлет» Соковнина и Малькова. Были, например, миниатюры³⁶.

³⁴ Константин Константинович Доррендорф – инженер и фотограф, школьный друг Соковнина и его близкий друг в течение всей жизни; автор публикуемых в настоящем издании воспоминаний о Некрасове; в 1967 г. сделал замечательную фотосессию Некрасова, отдельные кадры из которой в последние годы публиковались.

³⁵ По словам школьных друзей, стал биологом; фотографию Малащенко с Соковниным см.: Михаил Соковнин в фотографиях Константина Доррендорфа. М.; Иерусалим, 2017. С. 28.

³⁶ Соавторство школьных товарищей в «Дымоходе» (школьном рукописном журнале) подтверждается воспоминаниями Доррендорфа; ему же принадлежал и магнитофон «Днепр», о котором говорит Некрасов. В «Днепре», магнитофоне любительском, бобины не использовались, только катушки (с боковинами), и у Некрасова тут, видимо, смешиваются впечатления от профессионального магнитофона с бобинами в Бахрушинском музее, где Соковнин работал, с впечатлениями от прослушивания записей дома у Соковнина в Брюсовом переулке. Доррендорф помнит, что носил свой «Днепр» Соковнину: именно в Брюсовом Соковнин с Мальковым записывали «Красную Шапочку», по стоявшему там столу выстукивали локтями и ладонями общение Бабушки с Дровосеком и Красной Шапочки с Волком.

<О метафоре в поэзии 1950–1960-х годов: из статьи об акции группы «Коллективные действия» «Темное место»>

*Мемуарный фрагмент из незавершенного (по-видимому) текста, в котором Некрасов обсуждал акцию «Коллективных действий» «Темное место» (апрель—май 1983; текст самого Некрасова датируется нами предположительно также 1983 годом). Впервые полностью опублик. по машинописи из архива автора: Некрасов Вс. Н. <Об акции «Коллективных действий» «Темное место» (1983) и эстетике минимализма> // *Вакансия поэта–2: Материалы двух конференций*. Воронеж, 2020. С. 144–158 (приводимый ниже фрагмент находится на с. 149–155).*

Основной предмет статьи – соотносительность произведения (акции, визуального стихотворения, прозаического фрагмента, обнаружившего способность запоминаться и бытовать как самостоятельное произведение) и «большого контекста»; такую связь с «большим контекстом» Некрасов признает условием художественной состоятельности «миниатюры». Текст написан в годы, когда Некрасов создает наиболее для себя радикальные минималистские эксперименты (см. визуальные опыты начала 1980-х, частично отразившиеся в объектах, переданных в Папки МАНИ, и в подборках для «95 стихотворений» и «100 стихотворений» – сборников некрасовских текстов, сделанных Дж. Янечком в 1985 и 1987 годах³⁷).

Проявляясь в разные годы с разной степенью радикальности, эстетика минимализма была свойственна поэзии Некрасова в целом. У Некрасова, насколько мы понимаем, более нигде так внятно и прямо, как здесь, не обсуждаются критерии художественной состоятельности минималистского текста («миниатюры»), как он их понимал. Эта состоятельность, по Некрасову, обеспечивается не внутренней структурированностью автономного текста, а включенностью в контекст, способностью представлять его.

В предлагаемом мемуарном фрагменте Некрасов – и это для него большая редкость – вспоминает о литературных тенденциях 1950-х – 1960-х годов, о пристрастии – которое было свойственно и ему самому – к ярким тропам, к метафоричности, и о художественных рисках, с этим связанных³⁸; о собственных ранних стихах (именно тех, какие он никогда не публиковал). Именно здесь он подробнее и принципиальнее, чем где бы то ни было, говорит о любимых им Ильфе и Петрове; о влиянии Олеше; неожиданно признает сильные стороны Вознесенского.

<...> Что вы скажете об Олеше, о его знаменитой образности, метафорах как таковых? Я как-то долго с ним мучился, покуда не догадался, что Ильф мне нравится гораздо больше, куда живей для меня читательски. Да нешто это один я был такой? Хорошо помню, как я и видел и чувствовал, как рядышком кряхтит множество публики, – и не меньше как лет десять-пятнадцать. Очень яркий, конечно, автор Олеша, и совершенно злополучный, по-моему – и это то самое злополучие, которым хворали все 50–60-е годы. В те годы приходили в себя, очухивались, всем всё приходилось вспоминать и начинать, и был Олеша дважды актуален – как один из вспомненных и такой вспомненный, который ближе всех к начинающему.

Время было такое: как сейчас разрешили возделывать землю³⁹, так тогда вдруг разрешили: можете писать хорошо. Когда уже отучили и почти что некому стало.

³⁷ Электронные версии см.: <https://imwerden.de/publ-9662.html>; <https://imwerden.de/publ-9663.html> (дата доступа: 06.09.2021).

³⁸ Кстати, возможно, этот скепсис – реакция на ранние увлечения, – отношение к развитой метафоре как к частности, оттягивающей на себя внимание от целого и способной тем самым это целое разрушить, а еще и нелюбовь к собственным юношеским «метафорическим» стихам, выдержанным в духе времени, наряду с другими факторами позднее предопределили резко отрицательную некрасовскую оценку метаметафоризма.

³⁹ Речь здесь, скорее всего, о «Продовольственной программе» (май 1982); время, когда действительно «разрешили возделывать землю», т. е. легализовали фермерство (1989), Некрасов вряд ли мог бы так оценить и описать: в конце 1980-х

А что значит «хорошо» – все забыли. В большой цене было написание физически сильное, чтоб было событие, было видно: вот тут да, получилось. Какой угодно ценой. Чтобы была художественная витальность, яркий образ. Какой только можно. Естественным образом опять пошли зады 20-х годов, доживалось то, чему тогда дожить не дали. Пожалуй, единственный, у кого эти образы-метафоры и правда получались, был все-таки Вознесенский. А больше такое острое переживание, кажется, никому не давалось, хотя чуть не все пробовали. Естественно: вылезши из-под такой смерти, понять так, что теперь-то уж твое дело – жить, жить и жить, как тогда жили, а остальное – само собой. Но что-то мешало – подталкивало, возможно, к той мысли, что жить-то все-таки хорошо бы не сдуру вовсе уж, не как тогда – не то, глядишь, и дальнейшее тоже ведь как тогда обернется... И эти яркости – сравнения и метафоры – с них все начиналось. По себе (хоть и не только по себе) помню, как носился с собственными этими находками, как «находки» впечатляли и как плохо почему-то они лезли в стих. Стих получался нудный, – был такой, специально для начинающих, разболтанный пятистопный хорей. В него вали всё, какой хочешь образ-метафору: со скрипом, но влезет – и больше уже оттуда не выглядит...

И вот при такой всеобщей переразвитости образного мышления очень мучил вопрос: в чем же, собственно, дело? И чего еще не хватает? Как может тут вообще чего-то не хватать, если уже есть главное: к примеру, «Синий сок» – это же я придумал, сам, из головы, честное комсомольское, что вечером на улице такой синий сок – а? Что, плохо? Так как же смеет вообще тут что-то еще от меня требоваться?⁴⁰

(Справка – сейчас, кстати, того соку нет – не тот свет. «Дневной» так называемый, а синеву давали обычные лампочки накаливания, да и зажигались они сразу, эффектно.)

И вот сдается мне, грешным делом, что Ю.К. Олеша, разумеется, на своем, неизмеримо более высоком уровне, но все-таки, как это ни странно, так во всю жизнь из этих проблем и не вышел. Не догадался, что то, что кажется начинающему главным и несомненным художественным фактом, на самом деле только мечты (прекрасно, прекрасно – с мечты всё начинается – кто же спорит. Но если на мечте всё и кончается – согласитесь – это уже не та радость) и художественные прожекты. А будет ли наш прожект принят – это нам скажет стих/речь, интонация – вообще какой-то большой контекст. В том и беда Олеша, по-моему, что такого контекста у него нигде нет и не ощущается. Не то что вещи малы – нормальной длины вещи. Не то что вообще мало написано: маловато, но у Кафки или Хармса – много ли больше? Не то беда, что будто Олеша миниатюрист, а именно что он не миниатюрист.

Миниатюра – это что-то до того сжатое, что не может не расправляться само. В том и фокус миниатюры, что она, именно своей малостью, наглядно демонстрирует ту самую экзоту (если хотите) систему, структуру, большой контекст, который вещь попространнее маскирует, заслоняет собой. Попространней вещь – сама себе контекст. Вроде бы. Очень любопытно, не знай мы Чехова (и особенно Ильфа) и прочти мы только их записные книжки – каким было бы впечатление? Подозреваю, что все-таки достаточным. Особенно у Ильфа – не потому что Ильф лучше Чехова, а потому что Ильф, по-моему, эту именно сторону у Чехова и подметил, и воспринял, и работал с этим вполне сознательно, перепечатав, как известно, свои записные книжки на машинке. И эпигонством это не назовешь, Ильф меньше всего похож на эпигона. Это тот случай, когда человек видит: – о, да здесь еще есть место. Думаю, что не так для нас книжки живы романами, как наоборот: «Стулья» и «Теленок» живы книжками, «отрывками»,

слишком многие изменения во внутренней политике коснулись его более непосредственным образом.

⁴⁰ Некрасов вспоминает здесь свое раннее (до 1956 г.?) стихотворение, включенное им в машинописный сборник 1959 года «Ерунда сует» (текст см. на персональном сайте Некрасова: <https://philology.hse.ru/vnekrasov-archive/>), впоследствии не опубликованное. Хотя эти стихи автор, повзрослев, ценил невысоко, их образность отчасти перешла в поэму «Синева» (1960–1970), программную вещь молодого Некрасова, которую он в первой половине 1970-х охотно читал вслух (но и ее не печатал, – по причинам, о которых судить не беремся; опубл. впервые: Знамя. 2018. № 8. С. 114–117).

которые на самом деле не отрывки от целого, а как раз наоборот – первичные, основные ядра. Произведения, с одной стороны, законченные сами по себе, а с другой – способные обрастать еще и промежуточной тканью. Такое уж у автора мышление. И как ни великолепны сюжетные ходы романов, а не зря же с детства помнится, как в дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали. Или как обнаглевшие лошади постукивали копытами по булыжнику совсем уж нарочно. Не зря же был обычай – перебрасываться именно фразами, «отрывками», сохраняя их в целостности – нет, как угодно, а настоящий «отрывок» – оторванный – так себя вести не станет. Оторванное захочет срастись либо отомрет. Дело не в том, какой именно момент, поворот сюжета обслуживает эта фраза, не в том, из какого она места книжки, вообще из какой книжки – а в том, что она этого автора; не из какого именно текста, а из того контекста, мира – мы ощущаем всю его цельность и значительность именно благодаря «отрывочности» фразы – а значит, и фраза на самом деле не отрывок, не фраза сама по себе, а произведение, наилучшим образом выполняющее свою задачу. И того же мира, той же природы: «Это у вас что? Утюг? Дайте два»⁴¹, и «– Бога нет! – А сыр есть? – грустно спросил учитель», и «Ставлю вас в известность, что у меня пропал кусок мыла», и «Кульпоход в Колоколамске, или Как 1000 грамотных обучала одного неграмотного», и «Можно собирать марки с зубчиками, можно и без зубчиков... всё можно». (На месте Л.С. Рубинштейна я бы всё-таки поставил последнюю эпиграфом к «Комедийным новшествам»⁴².) А из романов это, из фельетонов или из записных книжек – нас уже интересует меньше.

Только не надо путать с афоризмами. Афоризмы как таковые, как правила, суждения – это совсем особое дело, специальное чтение, для людей особой складки – таких, которые надеются мудрость мира зазубрить на отлично. Афоризмы же как род литературы – дело всё же сомнительное, и именно потому, что лишены на собственный счет всяких сомнений. Жанр, который совершенно не интересуется вопросом о собственной правомерности и состоятельности – ничего такого афоризму и в голову не приходит. Он афоризм – точка. А у нас-то речь шла как раз об этом. Каким образом и по каким причинам может возникнуть и остаться существовать такая вот отдельная вроде бы «находка» – маленький, минимальный кусочек текста вне явного контекста. Так вот, ильфовский «кусочек», на мой взгляд, всегда несет яркий отпечаток интонации и художественного мировоззрения, всегда сам может продуцировать неявный большой контекст, поле контекста, так что исполнять реально – в виде романа или фельетона – такой контекст можно, но не обязательно. А великолепным метафорам Олеси мало помогает и реальное исполнение – рассказ или повесть. Здесь отрывочность все-таки остается не способом существования, а чистым дефектом. Это красиво, это прекрасно, это талантливо – но это в то же время никак. Это вообще, а не в речи, тексте. Подумано, а не сказано. Это – смотрите, какой автор талантливый, а не какой текст существует. И запоминается это не речью, а мыслью, в общем виде – это, собственно, тот же афоризм, только художественно-образный. Большой, конечно, мастер Олеша, только трудно понять – чего именно он такой мастер; от какой стенки этот его гвоздик, который лежит в кармане и всё примеривается – то туда, то туда.

И тем не менее гвоздик не исчезает. О нем как-то приходится вспоминать время от времени – он есть где-то, хоть и не понять – где. Не реализован, но и не забыт – вроде какого-нибудь даровитого человека, про которого нет-нет да и вспомнят: надо же, так ничего и не вышло. А был, знаете, талант... И кажется даже, что у такой «находки», так и оставшейся находкой, – естественное преимущество юности, школьника перед студентом – с ним еще всё может случиться, он еще может пойти в любой вуз... Преимущество недовершенного, преиму-

⁴¹ Некрасов цитирует «Записные книжки» И. Ильфа по памяти («Что у вас там на полке? – Утюг. – Дайте два»). Фрагмент про Бога и сыр, кстати, вспоминает и Л.С. Рубинштейн в своем позднем эссе «За русский сыр».

⁴² «Каталог комедийных новшеств» (1976).

щество не научившегося: его еще можно научить так, можно эдак... Он всё еще ищет способ осуществиться, ищет свой контекст, стих: каким бы, в самом деле, мог быть Есенин⁴³ для моего этого «синего сока»?

Но вопрос – а как освободить импульс, самое непосредственное творческое переживание от штудий – это ведь и есть один из центров концепта. Избавить Есенина от рутины даже есенинской. Вдруг в самом деле получится? А что же – что-то и получается, но уж, конечно, не без потерь. Большой контекст, стих, интонация, весь мир Есенина или Пастернака снимают вопрос – а как врубиться, войти в контакт с этим его образом, художественным переживанием – наоборот, чуть не заставляют войти в такой контакт <...>.

⁴³ Есенин назван, напр., в стихотворении Некрасова «За весь год // один единственный / день...». Наиболее подробно о Есенине, которого Некрасов не только очень любил в юности, но от любви к которому не отказывался и позднее, говорится в материалах доклада о Мандельштаме (нач. 1980-х гг.): «Как только появился Есенин, обнаружилось, что весь этот гардероб великолепный Блока – реквизит... Ведь от лирического высказывания мы ждем чего-то совсем другого. <...> у Есенина мы знаем “Ты жива еще, моя старушка...”, “Куда пойти и с кем мне поделиться...” – ничего подобного у Блока нету и быть не может <...> вот именно этой степени непосредственности <...> рефлексия <...> она у Есенина, может быть, единственного поэта XX века <...> как бы вообще снята, он про это и ведать не ведает. В этом смысле Есенин как бы вне литературы. Есенинские стихи – это песни, они поются. <...> У Есенина высказывание осуществляется на самом деле, а у Блока оно под вопросом. <...> Мне кажется, что самые большие фигуры поэтические в XX веке – Маяковский, Есенин и Мандельштам. <...> Маяковский и Есенин заставляют с собой считаться именно как с лириками, как со свидетелями души, которая высказывается так точно, как это редко бывает. Лирическое высказывание – очень редкая вещь, это национальное событие. Национальное – потому что в этом языке...» (расшифровка аудиозаписи доклада, цитируется по машинописи из архива Некрасова).

<Я.А. Сатуновский>

При жизни автора не публиковалось; возможно, не завершено. Печатается по авторской машинописи с карандашной правкой, прочитанной М.А. Сухотиным, впервые опубликовавшим текст: <http://vsevolod-nekrasov.ru/Tvorchestvo/Stat-i/O-YA.A.Satunovskom> (дата доступа: 14.03.2020); текстологические пометы М.А. Сухотина здесь воспроизводятся. Курсивом обозначаются вставки, сделанные Некрасовым в машинописи, – рукописные и машинописные.

Предположительная датировка может основываться, например, на упоминании Хлебникова: видимо, имеется в виду празднование столетнего юбилея Хлебникова (ноябрь 1985) или презентация вышедших в связи с этим юбилеем «Творений» (1986). Какие-то «торжества», о которых говорит Некрасов, возможно, связаны с 75-летием Сатуновского (1988!): сам Некрасов устраивал вечер памяти Сатуновского в клубе «Поэзия» (как вспоминал в интервью, данном В. Кулакову в 1990 году, – этот вечер был в январе или феврале).

Опубл. в сокращении: «Цирк “Олимп”», 2016, № 23.

К общению с Сатуновским восходили некоторые важнейшие для Некрасова эстетические идеи: понимание поэзии как запоминающейся речи, скептическое отношение к методу как к догме (и вообще последовательно реализуемому конструктивному принципу), представления о лирическом как личной интонации и о том, что «максимально свое личное – оно и есть всеобщее»; об этом см., напр., программные тексты Некрасова начала 1980-х годов («Концепт как авангард авангарда», доклад о Мандельштаме).

С.<атуновский> Встретились весной 61. Возил их с Бугаевским от Рабина к Кропивницкому. Стихи удивили: так похоже на Х.<олина> и С.<апира>, а сам их и не знает. Тут же стихами все и перезнакомились. Тогда важнее всего было, чтобы писалось новое – и не в новизне главное, а чтобы не такое как раньше (статья, цитата)⁴⁴. Странновато было, пожалуй, что такое вот новое, наше и ведется, оказывается, чуть не с до-войны... Оказывается, такие вот случайные, непредсказуемые выходы в поэзию могут быть нормой, методом – а всё казалось, что это у нас (меня) так, наскоки на метод, а вот когда-нибудь как начнет писаться... Видно, давило все-таки на мозги слово «эксперимент», пущенное еще конструктивистами («Это было в те времена, когда Илья Сельвинский, в целях приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как говорил Александр Блок, давая понять, что разговор окончен» (Ильф⁴⁵)). Именно. Хоть и знали мы, что «я не ищу – я нахожу»⁴⁶, а где-то, значит, застряло: эксперимент – лаборатория – частность. Творчество (истинное) – беспрепятственный хорошо налаженный процесс, поток, индустрия. Не помню точно, но думаю, что тут мне, например, мозги вправил (исподволь) прежде всего Сатуновский.

Он-то знал. И на том стоял. И уже лет тридцать, как это делал: высказывание – всегда частность. Частный случай, единичный. Стихотворение – частное лицо. Партикулярное явление. Личное и индивидуальное. И главная закономерность тут – неожиданность. Поэзия – не способ, не метод – это только инерция поэзии, твердеющая на глазах шкура. А поэзия – та

⁴⁴ Возможно, имеется в виду «Объяснительная записка» 1979–1980 г., где есть, в частности, слова: «...хотелось <...> новенького – да, конечно, но иного, главное, невиновного. Не сотворять – творцы вон чего натворили – открыть, понять, что на самом деле».

⁴⁵ Не вполне точная цитата; у Ильфа: «...как писал Александр Блок». См.: Ильф И. Записные книжки // Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М.: ГИХЛ, 1961. С. 223.

⁴⁶ Легендарные слова Пикассо («yo no busco, yo encuentro»). Впервые были опубликованы на русском языке в составе т. н. «Письма в редакцию журнала “Огонек”» (1926. № 20. С. 9); предполагается, что это кем-то составленная подборка. В мире эти слова известны как устное высказывание в разговоре с Грэхемом Сазерлендом. Они же приведены в статье последнего «A Trend in English Draughtsmanship» (1936).

самая истина, которая всегда конкретна. «Главное – иметь нахальство считать, что это тоже стихи»⁴⁷. *Стихообразующий фактор нулевой. Пульс есть, но жизнь – тайна. 1) Отличить поэзию от непоэзии 2) Отличить по непонятному признаку*⁴⁸. Стихи – это такой текст, который отвечает критериям, которые сам изменяет. Практически это значит: стихи – такая речь, которая запоминается. А почему мозг запоминает – этого узнать досконально никто не может, ибо «узнает» тоже мозг. Причина, по которой это вот, эта речь для нас – стихи, может быть каждый раз новой. Сознание не может исчерпать и раскрыть само себя до конца. Мы только можем пользоваться этим запоминанием – один раз запоминаем, отмечаем и отбираем один участок речи (стих) по одному признаку (предположим, по звуку), другой раз – по другому (предположим, смыслу), сотый раз отбираем по сотому признаку. В том-то и дело, в этом и интерес. Сознание всегда шире осознания – иначе и быть не может.

И более широкого, неожиданного, более принципиально, последовательно антидогматического поэта я не знаю. Разве что М<андельшта>м (С.<атуновский>, конечно, чтит его, хотя, по-моему, в глубине души всегда больше любил Маяк.<овского> и Хл.<ебникова>). Но М<андельшта>м был антидогматиком внутри стиха, стиховой системы. А для С.<атуновского> стих в том понимании уже был частностью. Частным и необязательным случаем речи. Речи, всегда готовой ощутиться, осознаться как стих – уже как стих в более широком смысле (я не хочу этим сказать, что поэт С.<атуновский> пошел дальше поэта М<андельшта>ма, время пошло дальше, как оно всегда делает – это можно вынести за скобки). Чему учит С.<атуновский>, учит его стих? Автор – не хозяин стиху. Стих – хозяин. Дело автора – быть готовым. Всегда готовым неизвестно к чему – живой стих всегда заранее неизвестен, откуда, когда, как, почему он даст себя знать. С какой стороны всплывет, проявится (цитата из статьи)⁴⁹. Дело автора – принять такой метод, который метод в наименьшей степени. Чтобы метод ничему не помешал в случае чего. Чтобы метод не помешал факту. Сознание не встало поперек существованию. Суждение не возобладало над произведением. С.<атуновский> учит тому, что речь – и инструмент, и феномен. Это не есть орудие, данное, врученное тебе – или хотя бы сделанное тобой (уже!), – а теперь дальше твое дело знай, им орудуй. Это такое что-то – орудовать ты им будешь, но только постольку и так, поскольку оно тебе позволит – оно же всё время в руках у тебя меняется, меняет облик свой и природу. Оно тоже орудует тобой. Не уловишь перемену, будешь махать и дальше по инерции – работа не пойдет, останется обряд, церемония. Писание стиха. «Хотя, по правде говоря, романсу б я не доверял»⁵⁰. Не это ли и есть то, что называют служением слову? *Служить делу, а не лицам и не организациям. И не мнениям*⁵¹. И не путайте – не слово – тебе. Ты – ему. Ты ему, тогда только между вами согласие. Не в тебе дело. То есть всё дело в авторе, но в конце концов для того именно, чтобы мог он полностью и свободно сказать – не во мне, авторе, дело.

Не как я хочу или кто другой требует, а как на самом деле лучше, как дело велит. А наше дело – слово. И да свершится воля его – потому что оно (речь) несет наш общий опыт, и умней, и про нас знает всех больше любого из нас, больше автора в том числе. А автор, в конце концов, только лучше других наострился ловить этот опыт.

Автор никакой не пророк. Антипророк, если угодно. Экскурс о пророках. «Поэзия – не пророчество». Стихи. Никакой не учитель жизни. Уж кто не учительствует, так это С.<атуновского> стихи.

⁴⁷ Неточная цитата, у Сатуновского: «Главное иметь нахальство знать, что это стихи» (1976).

⁴⁸ Дописано над строкой. – Примеч. М.А. Сухотина.

⁴⁹ Возможно, имеются в виду слова о Сатуновском из «Объяснительной записки» Некрасова: «Ловится самый миг осознания, возникновения речи, сама его природа...»

⁵⁰ Последние слова стихотворения Сатуновского «Ты говоришь: он всё забыл...»

⁵¹ Дописано над строкой. – Примеч. М.А. Сухотина.

Человеческие слабости – и не столь уж обаятельные, не сказать, чтобы очень выигрышные, – тут даже подчеркнуты, *выставлены*⁵² (и это словно бы постоянная забота, *тема*⁵³ С.<атуновского>).

Да может и хватит нас учить, в самом деле? Сколько можно ликвидировать неграмотность? Что-то охотно идем мы, грамотные, в ученики, в балбесы. Чем-то устраивает нас эта игра в неграмотных, привыкли. Привыкли ее праздновать, торжествовать. Во-первых, престижно (пророк – а наш современник! Вот мы какие), а во-вторых, на случай чего – пророки виноваты. Мы не знали, нам так сказали. Нас так научили. Нас обманывали с детства. («Всех учили. Да зачем ты был первым учеником, скотина такая»⁵⁴.) Не учитель жизни, а преподаватель предмета. Не в учителе дело – каков он, смотри на него, учись, как он надувается, не себя изображает, пример подает, а смотри, как у него дело идет, как и почему он умеет. Делу и старайся научиться.

«Служить делу, а не лицам». Вот это дело, которое и есть всё равно в конечном счете мы сами. Тогда не будет сенсаций. Не будет игры в шарахания, втайне от себя планируемой циклотимии, дурной безнадежной бесконечности очарований-разочарований, верований-разубеждений. Коллективной психомании, призванной изобразить, имитировать бурную духовную жизнь. А будет умение, знание. Хоть какое – но свое.

Заверенное собой, интонированное. Ты это сказал. Никто другой. Теперь ты это знаешь. Ты знаешь, как это сказать. Безынтонационность для С.<атуновского> – синоним безответственности. («Безапелляционно и безынтонационно»...)

Безынтонационная речь – несостоявшаяся речь. Речь без человека, ничья. И потому опасная – ее может присвоить кто угодно и повернуть как угодно, по произволу, а не по закону речи, который... который – всё. Санкция. Закон речи – естествен, а закон стиха – искусствен.

I. Вот что я говорю II. Кто это я? III. То ли я говорю? Вопрос о высказывании и его природе. Высказывание – это мой продукт. Но и я – продукт моего высказывания. Рефлексия как неотменяемый и важнейший конструктивный момент высказывания. Требование постоянного, непрерывного контроля и проверки – и только тогда и т. д. Максимально уточненное своим личным отношением, своей интонацией слово, высказывание – это и есть стих. А максимально свое личное – оно и есть всеобщее. Старый фокус лирики: чем больше я – я, тем больше я – всякий. Вот каким мне представляется кредо С.<атуновского>.

Именно постоянная, неотменяемая работа по такому уточнению и была его профессией как поэта. В этом профессионализм, и в этом профессионализме – главный сюжет его поэтической биографии. Со смертью биография кончается, и подправлять ее поздно. Речь не о его биографии – она-то в стихах. Речь о нашей – о биографии тех, кто с этими стихами соприкасался. Это нам поздно. Время подправлять было – по меньшей мере 20, а то и 30 лет. Этого достаточно. Человек умер, поезд ушел. Его дело было написать, он свое дело сделал. Наше – распорядиться. А вот как мы сделали свое?

Вспомним еще раз, что было за время хотя бы то начало 60, которое я вспоминаю.

⁵² Напечатано над строкой. – *Примеч. М.А. Сухотина.*

⁵³ Напечатано над строкой. – *Примеч. М.А. Сухотина.*

⁵⁴ У Е.Л. Шварца в «Драконе»: «Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?»

Борис Абрамович Слуцкий
товарищ экс-политрук
случился такой случай/
случилась такая штука/
что мне без вас как без рук
случилось, что мне
не твардовский
не бунин
не сологуб
не случевский
а слуцкий
ронадобился вдруг
сознательное
стихотворение

ср. с другим.
и "как прохлада
в летний день"

поэзия не жанр, а именно стих:
счастливый речевой случай,
приготовленный всем предшущим –
его надо не пропустить
но речь о поэзии
в самом классическом, лирическом, человеческом
смысле – только не рутинном – что и непрости-
тельно

вообще он был
свободней меня
и я это знал
"тебе что,
платят за рифму?"
но бывали и на него
прорухи
относительные –
не по ним его судить,
но не знать их –
это отвернуться от
чего-то самого для него
существенного, от дела жизни

поэзия
"и духовные деревья
оркестра ~~молчат~~
во всю ночь
лелька шувалова
и маяковский кого-то
"не грел", "не заражал"
~~испуги~~ только поэзия его
была вот такая

поэзия, стих –
только какой природы

мгновенной
/Бурич оворит об
этом – это теория:

а С. практика:
это чисто речевое

непонятно у ормилова
"язык, но не стихи. 9?"

то, что есть на самом
деле, на самом дне
на чем себя поймал.
удалось

оказывается наша школа
лелька шувалова
Дом дом
дом нас не помнит

Рабочая машинопись. Архив Вс. Некрасова

Проверка – это и была тема времени. Для нас – проверка речи, проверка речью. Держать ухо остро. А что – это работа, если без дураков. Думаете, такая легкая? А вы попробуйте. Во всяком случае, как дело было – все помнят. Ухо остро – это-то вот их и не устраивало. Хорошо сказал Рапопорт: «Формализм – поэтика профессионализма, профессиональной ответствен-

ности»⁵⁵. Наскоки на формализм, «модернизм», «авангардизм», даже космополитизм – слов может быть сколько угодно – апология идеологии. Не так важно, какой – слов, терминов, вывесок может быть опять же сколько угодно. Важно, чтобы не по делу, а по идее. А идею можно и поменять. Важно, чтобы не больно умные, не чересчур грамотные. Не слишком много чтобы понимали. Не как дело требует, а как начальство велит. Чтобы не самой от себя поэзии, а от нас бы зависеть. Быть-не быть. А то при чем тогда мы? Ухо остро – это не всегда удобно. *Ухо воспринять или восхищениям предаваться*⁵⁶. Чуткие больно. Хотят слышать и чего надо и чего не надо. И когда одернули в очередной раз этих формалистов – аккурат около 20 лет тому, – чтобы знали, кто в ихней профессии хозяин, – сами же они, не профессионалы же, и когда пошло массированное наступление на ухо – до чего легко, радостно оно пошло, в сущности! Может, не так сразу, но зато какую широкую поддержку нашло оно у общественности! Как неинтересны стали, как железно стали выходить из моды все эти абстракционизмы! Нет, давайте вспоминать. И давайте не забывать.

Как сделалось всё солидно, духовно. Всуерь и надолго. Какие пораскрывались перспективы. Откуда взяли столько умной молодежи. Да бросьте вы, наконец, всю эту мелочь и гадость, эти копания, кому это нужно! Ведь есть, наконец, возможность без этих мучений и въеданий заняться самым-самым-чем душе угодно. Самым главным. Истинным, наконец, и высоким. Настоящим, большим искусством. Высоким. Настоящей, огромной культурой. Глубокой (это печать бывает высокая и глубокая – а искусство с культурой – не путайте, детки! – одно высокое, другая глубокая). Заняться без помех, дети, прямо, свободно и непосредственно. Заняться хоть самым Господом Богом. Лично. (*пока – по секрету*)⁵⁷. Только – только вот сюда нельзя. Тут – Фу. Табу и тубо. Не надо. Да тут и нет ничего. И не было, дети. Тут бя. Бе. Сплошное бе – всё бездарно, безнадзорно, бездуховно и небезопасно, учтите, детки. И зачем вам, детки, такая мелочь и бяка, если вы наконец – наконец-то! имеете возможность предаться главному? А? Предаться прекрасному стиху. Возвышенным настроениям и умным мыслям. А что – предаваться – это ли не любимое дело. И пошли ребятки. Доброе поколение. Бойкое поколение. Ловкое поколение. Пошли прямо так, без очереди. Сколько было народу на Федорове и на суфиях и сколько на Хлебникове – мы сами видели (речь никак не о Щедровицком и не о Семеновой – они-то хорошие люди⁵⁸).

А ведь это филологи – их специальность, их профессия, как они ее понимают. Можно знать 10 языков (и это похвально), имея единственную тайную при этом сверхзадачу, – не знать чересчур хорошо своего собственного (что не поощряется). В том-то и дело. Это и называется депрофессионализацией. Вот эта-то мелочь – чем и занят был С.<атуновский> – в ней всё дело. Она одна – точка опоры. И у нее – нрав. Она – умение. Событие нашей речи сейчас и здесь. Она одна – культура, если без дураков. Остальное – культура-шкура, культура-декорация, которую двигаем туда и сюда, как нам угодно. Со всеми великолепными ямбами или как там их. А речь – не больно двинешь. Может и заупрячиться. Она не как мы пожелаем, а как нам дастся – как мы сумеем.

И тут и не повезло С.<атуновскому>. Не повезло ему с нами. Куда только не тыркался он со своими стихами. И ко Льву Абелевичу, и к Ник. Котенко⁵⁹. И всё без толку. Казалось бы

⁵⁵ Имеется в виду Александр Гербертович Раппапорт, архитектор и искусствовед. Некрасов нередко вспоминал эти слова и говорил, что слышал их в выступлении Раппапорта в 1981 г. в Центре технической эстетики.

⁵⁶ Дописано над строкой. – *Примеч. М.А. Сухотина.*

⁵⁷ Напечатано над строкой. – *Примеч. М.А. Сухотина.*

⁵⁸ Имеются в виду публичные выступления Дмитрия Владимировича Щедровицкого, посвященные суфизму (такие выступления стали возможны с начала 1980-х), и Светланы Григорьевны Семеновой о философе Николае Федорове (которым она занималась с семидесятых годов); если считать, что слова о Хлебникове, на котором было мало народу, относятся к его столетнему юбилею, то речь идет здесь о середине 1980-х.

⁵⁹ Около 1968 г. Сатуновский, видимо, предпринял неудачные попытки напечататься в «Новом мире» и в «Москве»; в «Новом мире» ему по соображениям, так сказать, эстетическим, отказал Лев Абелевич Левицкий, в «Москве» – Николай

– такая мелочь, небольшой верлибр – да мало ли чего-то подобного проскакивает! А не проскочил. Та дама обозвала его неудачником. Помилуй Бог, говорил Суворов. Ну, год неудача, два года неудача. А когда двадцать лет неудача и больше – и всё та же самая неудача – это уже что-нибудь да значит. Это ведь не в мрачные прежние годы, это вот сейчас, при нас, уже в этом, как говорят за рубежом, истэблишменте, тыркался и крутился по редакциям столько лет Я.А. Сатуновский.

(Детские стихи разговор особый. А не детские – чуть не единственный случай – «Между летом и зимой»⁶⁰. А больше – насколько знаю – у нас нигде ни строчки.)

Ахматову почти десять лет не печатали, и она не писала ничего такого, и это стало национальной легендой о лит. доблести, и каждый помнит соотв. строчки Маршака (довольно-таки средние, кстати, строчки⁶¹).

А Сатуновского не печатали сколько раз по десять лет? дважды – только на моих глазах⁶². А до того? И он тоже не писал ничего такого. А где легенда? Дело вкуса, но, по-моему, Сатуновский – не меньше поэт, чем Ахматова. Или легенда подождет, поскольку она нам сейчас – неудобна? Это ведь не тогда не печатали, когда головой рисковали, – это сейчас не печатали, когда весь-то риск для тех мэтров, которых беспокоил С.<атуновский>, – что у кормушки стало бы потеснее.

Это ведь не как-нибудь не печатали – общественно, под музыку. Под солидные статьи в «Новом мире»⁶³. В том смысле, что это вот, мол, пустяки, с этим и обожать можно, сейчас мы здесь заняты более гораздо важными и масштабными делами. Нет, миряне. Ничего не получается. Если вы пишете на обложке, что вы х<удожественно>-л<литературный> журнал, ничего важней х<удожественно>-л<литературного> для вас нет, как хотите. Не можете вы быть ни журнал аграрных мыслителей. Ни общество фронтовых друзей (впрочем, С<атуновскому> и фронт не помог), ни объединение лиц преследовавшихся – это всё не более чем респектабельные формы отлынивания от дела. А дело – вот оно. Было. Это не у нас пустяки и игры. Это у нас как раз – не игры, а у вас игры – только, извините, на деньги. Блат, если попросту. И вся солидная наука-критика, откуда позже есть/пошла М.<олодая?> Г.<вардия?> и деревенская проза – блатная музыка и ничего больше. Как вам удобней.

Только не надо принимать торжественные позы: а как же мол. Не печатали – значит, это-то и есть высшее призвание. А кого печатали? У нас так и полагается. Вон и М<андельшта>м кричал – а Иисуса Христа печатали? и т. д. Христа-то не печатали, но М<андельшта>ма все-

Николаевич Котенко, по соображениям скорее идеологическим; аргументы описаны в стихах Сатуновского («Снабженцу, исполняющему обязанности литератора...», «Ник. Котенко – ник-то...»)

⁶⁰ В составленном Некрасовым сборнике стихов для детей «Между летом и зимой» (М.: Малыш, 1976) были напечатаны «Капель», «Печку топят» и «Из поэмы “Бабушка сказка”» Сатуновского.

⁶¹ Какие именно строчки С.Я. Маршака имел в виду Некрасов (а он явно имел в виду какое-то определенное стихотворение), установить не удастся. Можно сказать только, что у Маршака нет ничего, очевидно посвященного вынужденному молчанию А.А. Ахматовой, хотя есть стихи о скромности как поэтической добродетели, о пользе строгого отбора и проч., напр., «Дождись, поэт, душевного затишья...» (из позднего цикла «Лирические эпиграммы», опубл. в 1962 г.). Возможно, что Некрасов ошибается и воспринимает как связанные с Ахматовой стихи Маршака, обращенные к Т. Габбе. Позволю себе здесь мемуарное свидетельство. В конце 1980-х (точнее не помню) я спросила Некрасова, как он оценивает стихотворение Маршака «Когда вы долго слушаете споры...», и оценка оказалась очень жесткой. Если над статьей о Сатуновском он работал тогда (удается датировать только относительно: не раньше конца 1985 г.), то, возможно, о Маршаке ему напомнил этот разговор и «довольно средними» он называет именно эти стихи с их противопоставлением якобы пустых и искусственных забот о литературной форме «правде» жизни. – *Примеч. Г.В. Зыковой.*

⁶² «Последнюю в жизни фигу от редактора Сатуновский получил именно кривулинскую, когда отослал ему Витя назад 12 страничек с любезной просьбой сократить. Ибо не оказалось места – последний “37” необходимо было выпустить не меньше как с сотней страниц Лены Шварц. Из них 50 – повторение, перепечатка из предыдущего номера, но тут важен был принцип – раз всем с “37” норма – полста страниц, значит, Лене Шварц – два полста и еще сколько захочет. Короче, после этого с Витей разговоры у нас уже не клеились» (Письмо Некрасова «Иосифу» (Киблицкому?) 1983 г.).

⁶³ Некрасов и сам пытался в советское время (не позднее 1978 г.) предлагать какие-то свои стихи «Новому миру»; об этом см., напр., стихотворение «были бы люди солидные»; возможно, имел дело непосредственно с В.Я. Лакшиным, судя по неоднократным упоминаниям о нем в полемической прозе и особенно стихах Некрасова.

таки печатали. А когда перестали – тут и начался конфликт, и мы в нем отнюдь не на стороне не печатавших. Ведь верно? Так что это вовсе не мистерия, это не мироздание, не от века так устроено, что не печатают, – это только ваш же блат так устроен, миряне. *Вы устроили, Б.<орис> А.<брамович Слущкий>, Д.<авид>. С.<амойлов>, В.<ладимир> Я.<ковлевич Лакишин>*⁶⁴. А он – еще не Высший суд, как хотите. И напечатать – при желании – вы за 20 лет могли 20 раз. Или больше.

И вас ведь предупреждали – С.<атуновский> и предупреждал: эпигонство – опасное дело. Эпигон всегда попадетсЯ. И весь смысл его работы – чтобы быть (сказать) только как ты сам, а не как кто-то. Не по образцу. Вот – что значит, не хотели учиться. И попались. Не кивайте на 30–40 годы, на пап и мам редакторов 60–70-х. Те папы и мамы ни на кого не кивали, не до того было – обмирали от ужаса, балдели, не понимали: что такое делается: конец, что ли, теперь всякой литературе, и остался один Софронов Грибачев Щипачев – или как понимать... А вы-то всё понимаете, всё знаете, какой это случай и как это бывает. Так не подражайте, не выйдет. Те времена были – знаете – неподражаемые... У вас на полочке у всех стоят три синенькие книжки – и Пастернак, и Мандельштам, и Цветаева. Ахматова, кто еще.

Вы плохо делаете, не печатая тех, кто хорошо пишет. Вы и правда не всегда виноваты. Но хуже, что при этом вы изобретаете кривые рассуждения или подхватываете чужие – делая плохо, желаете хорошо выглядеть. Удастся ли? Сомнительно. Постараюсь, чтобы не удалось.

Только не надо валить всё на ваше начальство – на нем и так грехов хватит. Плохо нам, что мы снова и снова продуцируем такое начальство сами – из своих же. Я говорил С.<атуновскому> – И охота вам, водитесь с таким-то? Разве не видно, что это растет то же самое, если не хуже? – Жалко... Жалко. Им-то жалко не бывает, когда они пишут свои рецензии – недопрофессионализм, начиная пробиваться, пробиваться может только так – локтями – только становясь антипрофессионализмом. Логика всегда одна и та же. И та – пора уже сказать – антипрофессиональная солидарность, сплоченность вокруг кормушки, какую наша здешняя лит. общественность продемонстрировала на всех уровнях – включая самые передовые – и которая дала такой вот блестящий, наглядный результат – 20 лет и ни одной строчки – эта антипрофессиональность пусть не прячется. Итог впечатляющий.

Торжество это не нужно Сатуновскому – оно нужно ему было живому. Он искал общения, искал читателя, как всякий нормальный автор, – и я это знаю. Торжество не нужно его стихам – не пристало им искать компромисса, приспособливаться, замазывать ситуацию. В своих собственных, не «детских» так называемых, он, как мы все хорошо знаем, никогда не кривил ни строчкой. Тут дело крупное. Всю жизнь пишутся стихи. И всю жизнь их не берут. Говорят, стихи плохие. Автор думает – хорошие. Наконец автор умирает. Тут уж прав – и крупно прав – кто-то один – либо автор, либо не печатавшие. И стихи либо-либо. Либо хорошие. Либо нет. Середины искать не пристало. А хорошие – так никуда не денутся. Главный срок – жизнь – уже прошел. А Гумилев вон и 60 лет дожидается и не хуже ему. Пусть не будет, как с Оболдуевым в М.<осковском> комсомольце⁶⁵.

И выходит, торжество нужно нам. Повторившим здесь, в крошечном смешном масштабе общую историю. А мало ли что нам нужно?

⁶⁴ Дописано над строкой. – Примеч. М.А. Сухотина.

⁶⁵ Возможно, имеется в виду посмертная публикация стихов в «Московском комсомольце» (7 апреля 1967 г.).

О ранних работах Э.В. Булатова

Печатается по машинописи из архива Некрасова. Авторская помета: «Написано 8 января <1990 года> для выставки в Новосибирской картинной галерее»⁶⁶. Первоначальное название: «Э.В. Булатов, О.В. Васильев, И.И. Кабаков, Ф.Ф. Инфанте».

Осенью 65 года в клубе института имени Курчатова должна была открыться выставка Эрика Булатова и Вячеслава Калинина. Съехалась публика, но открытие закрыли в последний момент – как обычно и делалось. Составленные в зале картины можно было посмотреть как бы по знакомству. Так мы с Соковниным, тогда уже автором «Книги Вариус», и познакомились с Эриком Булатовым⁶⁷. А чуть позднее подружились и с Олегом Васильевым – с Булатовым они были и соавторы в детской иллюстрации, и неразлучные коллеги еще с художественной школы. Могу сказать, что от работ и Булатова, и Васильева осталось то же впечатление, что от рабинских – при всех между ними различиях – я словно увидел изображенными собственные стихи – верней, не так стихи, как поэзию, не так написанное, как то, что написать хотелось, – а теперь, увидев воочию, можно сказать уже – предстояло написать.

Только (беря очень грубо) поэзия Рабина – поэзия ночи, осени, зимы, вечера, электрического света, огня, поэзия города – а поэзия Булатова и Васильева – поэзия лета, дня, если вечера, то не позднее заката, а то и прямого солнечного света, поэзия природы. Но все трое, на мой взгляд, самые полнокровные, искренние лирики в нынешнем изобразительном искусстве: они никогда не стараются предаваться лирическому настроению во что бы то ни стало, только по собственному желанию, капризу, произволу. Как бы их к этому ни подталкивать – изнутри ли, снаружи: например, подталкивать зрителю – рядовому, начальствующему, но такому, который любит поскорей, беспрепятственно предаться экстраординарному переживанию. Художник понимает: его дело не предаваться. Предаваясь, недолго и предать кого-то или что-то, и прежде всего – собственное свое ремесло. Ремесло же и состоит в том, чтоб не закрывать глаза на препятствия, а исследовать их на совесть, выяснить как следует самую возможность переживания, доказать, показать его подлинность и честность. Чтоб не оказалось переживание опять придумано, навязано кем-то.

Поэтому нет художника вне изобразительного языка – думает он об этом или не думает, но так или иначе «выпасть» из современного языка, всего контекста его истории, его развития, его проблем художнику – то же, что человеку «выпасть» из общечеловеческого опыта: язык-то и исследует реальные возможности.

Булатов 65 года был уже художник зрелый, вполне «развивший» свою художественную речь и высказывавшийся ярко, искренне, ни на кого не похоже. В юности он был под сильным влиянием Фалька, но вскоре фальковская пристальность и добротность остались, так сказать, в фундаменте, а всё больше стали заявлять о себе темперамент и особая булатовская прямота, доверие к открытому эффекту. Чем больше вроде бы отходили от реальности его пейзажи и деревья, чем становились они обобщенней, тем получались ярче, взволнованней – и тем больше были похожи на пейзажи и деревья.

Изображались, переживались сильнее, может быть, самих елей и сосен куски пространства, дыры между еловыми лапами, куски света и воздуха между деревьями. И вот на глазах обобщенность стала переходить в схематичность. Но удивительное дело: нельзя сказать, что схематичней стали сами работы. Художник сумел обобщить картину, не засушивая ощущения, не порывая с ним живой связи. Просто пространственность кусков, участков пейзажа стала пониматься, видеться как частный случай пространственности картины в целом.

⁶⁶ См. в настоящем издании воспоминания об этой выставке Вл. Назанского и Эл. Худошиной.

⁶⁷ См. об этом также интервью Булатова в настоящем издании.

Картину же Булатов понимал по Фаворскому, прилагая его учение о пространственной структуре листа книги, листа гравюры к прямоугольнику холста картины. И появились картины «буквенные», «геометрические», – но это не были буквы как буквы, и если говорить о геометрии, то это была стереометрия – это было живое пространство с цветом и светом, только максимально обобщенное – и потому максимально выявленное⁶⁸. А когда в нем стало появляться изображение, оно оказалось «процитированным» – это было изображение сродни плакатному, фотографическому, телевизионному – возможно более привычное, знакомое, не вызывавшее вопросов у зрителя – подобно просто и удобно, убедительно организованной конструкции самой картины – с пространством «высоким» или «глубоким», неизбежно рождавшимся из выраженного центра, краев и диагоналей – не обязательно ограниченных буквально.

А в общем, если сравнивать Булатова 75 с Булатовым 65, то можно сказать, что, разработав свой художественный язык, художник затем проделал не меньшую работу, чтобы отказаться от этого языка ради языка более общего – пожалуй, классически обобщенного.

Такое вот понимание относительности языка (при его необходимости), относительности, в конце концов, необязательности материала и самого произведения искусства – при непременном сохранении самого искусства как особого, отдельного, специально выделяемого рода деятельности – и получило название концептуализма. И получило, в сущности, случайно.

Художники не выдумывали мудреных концепций, не обзывали себя необыкновенными названиями. Они писали картины, рисовали графику – и старались делать это как можно лучше. Как Булатов, так и его ближайший друг и сосед в искусстве Олег Васильев.

Как и приобретающие сейчас всё большую известность ироничный Кабаков и очень яркий, эмоциональный Франциско Инфанте – хоть для настоящего знакомства с ним просто необходимо увидеть его необыкновенные слайд-фильмы.

Этих трех авторов сейчас тоже называют концептуалистами. И они как будто не возражают.

⁶⁸ Об этом см., напр., статью Булатова «“ВОТ” (Слово в пространстве картины)» (впервые опубли. в журнале «Word Art Музей», 2004. № 11).

<У Белого дома в августе 1991 года>

теперь смотрите

*не хотите
не верьте
только стало светлеть
небо*

с этого конца

*куда смотрели
когда стояли
и я стоял
и оглядывался
я туда и сюда
да рассветало
за мостом
было
это
как раз прямо напротив востока
Боже ты мой
я не знаю
надо слово дать
или как хотите считайте
только выдумывать еще
такие нехитрости
ей-богу
я бы не стал
пожалуй тоже вы не <стали>*

*и не считайте
что тут стихи
\$\$\$это не стихи⁶⁹*

Расшифровка аудиозаписи, сделанной самим Некрасовым «для истории» вскоре после описываемых событий.

Про свое стояние в ночь с 20 на 21 августа Некрасов потом написал в статье «Окуджава» (Литературное обозрение, 1998, № 3); переход к этой теме, внешне с Окуджавой не связанной, был определен установкой статьи, заявленной в первых ее словах: «Об Окуджаве мне писать... Это надо писать обо всем...» (с. 40), и общей стилистикой внешне обыденного, негероического, которую Некрасов любил в Окуджаве.

⁶⁹ Воспроизводится по авторской рабочей машинописи с карандашной правкой, слово в ломаных скобках читается предположительно; насколько нам известно, не публиковалось; время создания неизвестно.

К своим аудиозаписям в 1998 году Некрасов не обращался: «Где-то у меня должна быть пара кассет с туго и подробно наговоренными мелочами этого стояния. Но тогда я поспешил, кассеты купил какие-то не такие, и что все это уцелело – не уверен. И сейчас пишу по памяти» (с. 45).

Наговоренное на диктофон в 1991 году имеет мало общего с мемуарным фрагментом статьи «Окуджава»: там Некрасов не пытался зафиксировать происходившее в его последовательности, подробно разрабатывая только один мотив – «негероического» (по Окуджаве) стояния беззащитных людей в ожидании возможного насилия, которому они не могли и не предполагали активно сопротивляться. Самое же существенное различие – в статье 1998 года воспоминания об августовской ночи 1991 года поданы с точки зрения того, что будет дальше (а девяностые Некрасов оценивал как время «подлое»); в 1991 году свидетель, описывающий свой вчерашний опыт, о будущем не знает.

Из трех некрасовских текстов об августе 1991 года наиболее светлые по тону – стихи, оставшиеся в рабочих материалах; возможно, именно их восторженный тон сделал для автора публикацию психологически невозможной.

На 12 часов был назначен митинг, мы с Аней и Галей на него пошли. Спокойно, хорошо, светило солнышко. До конца мы не достояли, немножко послушали, вернулись домой около четырех, и в 17:10 раздался звонок (я специально запомнил время). Женский голос: «Всеволод Николаевич, говорят с Российского телевидения. Мы в Белом доме, связь отрезана, нас готовятся штурмовать ОМОН. Если у вас есть какие-то знакомые корреспонденты, наши или не наши, передайте им...» Я не знаю, кто это звонил, на телевидении знаком был только с двумя людьми: с Солнышкиной и Торстенсеном, но это были не они. Я немножко растерялся, стал говорить, что у меня же, кажется, нет корреспондентов, да и правда их нет. «Ну, хорошо, передайте нашим людям, всем людям». И начал передавать: позвонил сначала в посольство Швеции, с которым у меня были дела в июне; меня поблагодарили, по-видимому, были не очень в курсе дела. Потом решил позвонить в посольство Соединенных Штатов, по справочнику посмотрел телефон, и это была с моей стороны глупость: я не знал почему-то, что посольство Соединенных Штатов стенка в стенку как раз с Белым домом, окна в окна.

Поскольку «Эхо Москвы» одно-единственное вело соответствующие передачи, позвонил я и туда, и там, как и в американском посольстве, уже всё знали. На это я потратил много времени, и, позвонив еще друзьям, мы с Аней решили, что, наверное, идти надо... и пошли спешно. Причем радио к этому времени, «Эхо», передало странное сообщение, что части, охраняющие Белый дом, отводятся или отведены, по требованию военных баррикады разобраны. Очевидная глупость: мы видели днем эти баррикады, по требованию военных разобрать их так быстро было, конечно, невозможно. С другой стороны, достаточно было даже в одном месте разобрать хороший проход, так, скажем, для одного танка. Как бы то ни было, баррикады якобы разобраны по требованию военных, депутаты спускаются к военным, так было сказано. Потом были разные мнения насчет того, что это были за передачи, ляпсус или даже провокация, якобы какая-то станция оперативно подключилась на частоте «Эха» и перебивала его провокационными сообщениями. Всё может быть. Но если это было сделано, то сделано чисто.

Поехали. Днем туда много очень людей перло, и сейчас достаточно. Приехали в седьмом часу, так же лезли напролом через ограду на Краснопресненской, как и днем лезли. Ничего такого, никаких бедствий не заметили. Шли люди, во дворик, где со стороны парка стоял танк, уткнувшийся в зелень орудия, у забора самого, отделяющего парк от площадки здания Верховного Совета РСФСР. Мы решили поприсутствовать, раз такое положение и что-то готовится. Спросили одного парня, что здесь такое было. Он отчасти оскорбился – проверяют, сколько он здесь стоит? – и очень гордо и гневно сказал, что стоит уже три часа (а что происходит, конечно, не знает).

Выяснилось, что депутаты действительно спустились, но, спустившись, разъехались по воинским частям агитировать.

Сели мы на камушек, где поменьше людей было; оттуда нас отогнали (какие-то ребята дежурили)... Взяли мы какие-то досточки, под себя подмостили, на них плащ положили, сидим, и выступают разные люди. Запомнилась Белла Куркова, которая говорила с воодушевлением, а потом тоже как-то ревниво и гневно: вижу, здесь многие прогуливаются, а здесь не место для прогулок. Но, по-моему, таких, кто просто погулять пришел, видно не было. Настроение, конечно, у всех разное, у кого-то возбужденное и вроде веселое, но гулять было невозможно хотя бы из-за тесноты: баррикады, танки, толпа людей, машины скорой помощи стояли. Так мы провели часа два.

Стояла женщина с плакатом – я сначала увидел одну, подумал, что ее инициатива, а потом еще двоих или троих: «Товарищи мужчины, по Москве идут войска, помогите защитить Белый дом». Точный текст я не помню, но он был у разных женщин почти одинаковый. Слышали еще каких-то людей. Помню, Любимов выступал по радио Белого дома.

Рассказывали, что наши российские умельцы за три часа смонтировали передатчик, и теперь из Белого дома можно вести передачи. Российские умельцы-ельцинцы смонтировали такой передатчик, который вещал на американское посольство и, в общем, не дальше, потому что из Сокольников уже и следов этих передач найти нельзя было (на каких частотах искать, у Белого дома объявляли, и мы это записали). Передатчик был слишком слабый, поймать можно было только «Эхо», время от времени возобновлявшее работу, по крайней мере у нас ничего другого не получалось. Говорили еще про «Радио России», но мы его не ловили.

А здесь мы по внутреннему вещанию послушали-послушали, и пришло мне в голову, что, как это всё начнется, обязательно привезут хороший мегафон или передадут с крыши или с этой трибуны двухцветной, или оттуда сбоку, слева, но будет сказано: через столько-то минут очистить площадь посторонним (или собравшимся, или кому там). Ну вот что я тогда сделаю? Ведь я, наверное, очищу площадь, не говоря уже о том, что нечего здесь Аньке делать, а что буду делать я сам? Если даже останусь, то чувствовать буду себя глупо, и оно, это сознание, не придаст, конечно, бодрости и уверенности: я обязательно буду думать, не слинять ли мне.

Между тем идет куда-то запись, люди вроде как делом заняты, я понимаю всю условность такой организованности такого дела, но, тем не менее, она здесь, видимо, необходима. Если что-то демонстрировать, то вот таким вот образом, а не иначе. Подумал я подумал и говорю Ане: ведь скажут уйти – ты уйдешь? Знаешь, наверное, я бы ушел, вообще-то нам уйти надо. – Но уходить она не хотела, и тем более одна.

Пошли мы с ней вверх. Тут я, кстати, и узнал впервые, где это – здание американского посольства. Встретили, кстати, Евгения Евтушенко с парой каких-то граждан американского вида. Пошли направо, на Смоленскую (здесь через несколько часов убьют трех человек).

Из дому мы выскочили не поевши и толком не одевшись. Правда, Анька взяла какой-то мешок, наскоро собрала что-то. Мы, между прочим, думали, что вонь какая-то уже будет, и первым делом в голову приходил слезоточивый газ, так что Аня взяла ваты с собой клочок и мне в карманы запихнула, кажется, йода пузырек, вообще аптечку.

Дома включили «Время». Я собирался вернуться к Белому дому попозже, но тут объявили комендантский час. Поторопился, поднажал и из метро на Краснопресненской вышел без пяти одиннадцать. И народу было, все перли, как днем на митинг, много-много; видимо, соображение было у всех то же, что у меня: успеть, пока метро не перекрыли.

Днем у Белого дома был аэростат с флагами, это было первое, что мы с Аней увидели, выйдя из метро. Грешным делом, когда принесли грузинское знамя, мы не знали, что оно грузинское, страшноватое нам показалось, темно-красное, бордовое, черное наполовину, еще там что-то такое изображено. Разных флагов было до пяти, может, потом и больше, гирлянда. И с наступлением темноты Белый дом очень ярко осветили, необычно ярко, как в праздники.

Памятник там стоит, работница и солдат, у солдата ружье, видимо, настоящее или почти настоящее, с дыркой, и в дырку был воткнут трехцветный флаг, цветы рядом лежали... Вообще цветов было много везде. Вечером всё было уже более по-деловому, более нервно и под дождем.

А в одиннадцать вечера в небе над Белым домом было уже пусто. Дом был освещен, но не так ярко. Кстати, передавали, что в 22 часа должна была начаться сессия Верховного Совета РСФСР, – и казалось странно, что в Доме темновато. Потом уточняли, что сессия будет на следующий день, утром 21-го, и кто-то, выступая по радио рассуждал, что нам бы хоть день простоять да ночь продержаться, а утром-то у нас всё будет в порядке, начнется сессия.

Дождик принялся уже серьезно лупить, у меня там была сумка, в сумке аптечка (комки ваты и йод), фляжка с водой, зонт, полплитки шоколада...

Между прочим, еще днем я заметил, что баррикада тщательно положена была со стороны Грузинской, которая от станции Краснопресненской идет. Проложена аккуратно, на всю ширину улицы, а справа оставлен проход для людей. Там низкие кусты растут, ветки тянутся во всю ширину тротуара, а вся ширина тротуара ничем не закрыта: кто там под мокрые ветки полезет, вообще неудобно всё затаскивать, ну и люди чтоб прошли, чтоб не гнать их в эту зелень... Как бы то ни было, здесь не то что танк, а и машина, если стекла закрыть или если стекла крепкие, проехала спокойно. Так что баррикада сплосковалась. В другом тоже были странности: например, эспланада около здания СЭВ, крыльцо такое большое, широкое, оно, по-моему, едва ли БТР бы выдержало. Солидное на вид сооружение кое-как завалено: распахать и въехать, конечно, ничего не стоило. Не знаю, насколько всё было на самом деле хорошо сделано, но казалось, что не всегда основательно, хотя кое-где очень много всего навалено. На горбатом мостике всю брусчатку разобрали. Конечно, брусчатка не подлинная, а так, поздний, новодельный декоративный тип, как около МХАТа.

Слышу, крики раздаются слева из-под козырька этого самого СЭВа: «Мужчины, записывайтесь в группы самообороны, мужчины, записывайтесь в группы самообороны!». Я пошел на крик, там толпятся люди какие-то. «Кто записывается?» – «Вон там пишут». Подошел, смотрю: да, малый чего-то пишет; лет парню, наверное, 25, несколько сухощавый, задорный такой, хорошего комсомольского типа, из тех, к которым хорошо относятся. Ребята не противные (потом-то они всякие бывали, но по первому впечатлению). Спрашиваю, что такое группа самообороны. Он на меня смотрит и говорит: «А это вот ты стоишь, тебя солдат по морде бьет, а ты не отвечаешь». Я как-то себе представлял немножко по-другому, но, видимо, тут такая установка. Что ж, – говорю, – пиши, – и записался. Группа 402, этот парень – Игорь, командир двадцатки, и были там еще какие-то сотни. Набиралось, чтобы выстраивать цепь. Когда я записывался, сказал, что вообще-то не в армию какую-то записываюсь, а только вот на эту ночь. Малый кивнул, видимо, так он и думал, как я понял, так и большинство записывалось.

Этот Игорь светил зеленым фонарем, длинный такой фонарик, небольшой, вытянутый сильно в длину. Свет давал, сначала казалось будто суховатый, маскировочный, потом смотрю, что нет: яркий зеленый свет, то ли фильтр какой, то ли галоген, любопытный фонарик. По-моему, я такие видел в Германии...

Под козырьками, где можно было укрыться от дождя, люди стояли тесновато, туда идти не хотелось, и пошел наверх посмотреть, что там. Мне показалось, что тысяч десять народу только с этой точки видно, а было, конечно, больше (оттуда не видно было, например, двора Белого дома). Баррикады были довольно далеко во многих местах вынесены от Белого дома, говорят, что людей было несколько десятков тысяч, по каким-то оценкам – около 70.

Наверху народ прохаживался. Помню разговор. Продолжают люди прибывать, записываются, самооборона, и баба очень тертого вида: «Чем браниться-то будем, начальник?» А я: «Зонтами, чем еще, зонтами».

Сверху видно было баррикаду, довольно-таки несерьезную, по-моему, с Кутузовского. Кутузовский был перегорожен к мосту через Москву-реку, и под мостом было загорожено на

набережной, может быть, дальше Бородинского. В дальнейшем там, кажется, что-то происходило; нам говорили, что и должно происходить. Было две баррикады: в начале моста и в конце. Троллейбусы стояли поперек.

Отходить далеко было нельзя: предупредили, что будет переключка. Пошел вниз, успел на свою фамилию крикнуть «Есть!», выстроили нас в ряд и поставили. Сначала поставили здесь же, от угла СЭВ, вернее не то что от угла, а вот где-то здесь же, где были укрытия, и до другой стороны улицы, потом вперед отвели. Было три цепи, как я понял: 402-я, 403-я, 404-я. В цепь мы встали около половины двенадцатого.

Сумки оставили все под козырьком в кучке, около сумок поставили человека из нашей группы. Мужик пожилой, видимо, очень тертый, бывалый, говорил, что он здесь и прошлой ночью был. Думаю, постарше меня был, несколько бомжистого вида, в кепочке, приземистый, оскаленный несколько.

Объяснили, что надо делать. Объяснений было несколько. Первое: не поддаваться на провокации, удары отражать зонтами, это если пойдут с палками резиновыми, на удары не отвечать ни в коем случае ничем и держаться, по возможности плотно сцепившись локтями. Если начнется избиение, то тогда, конечно, отходить, если будет огонь, то в укрытие, укрытие присмотреть заранее. Оглянулись: какие на фиг укрытия, тут никаких укрытий нет. И тут стали все смотреть под ноги. Дождь лил всё время, кругом вода течет. Чтобы близко от луж не становиться, на случай, если упадешь убитый, чтобы не в лужу, а если не убитый, то тоже чтобы не в луже лежать.

Как нас поставили, сцепившись локтями, так мы и стояли. Но, конечно, время прошло, мы стали свободнее, расслабились даже без команды – несколько раз нам командовали: «Все в строй, взялись за руки, никого не пропускать». Посмотреть, что несет. На самом деле люди всё время ходили, никто не хотел изображать настоящее начальство. Большие сумки как-то проверяли, а чтобы не давать пройти – это было невозможно.

Слева от меня малый в беретке, длинные волосы, блондин. Он, видимо, был журналист, у него был фотоаппарат, он его всё время вынимал и снимал знамя трехцветное над нами. Но Дом был подсвечен слабо, а уже мгла такая была, дымка, всё это дело тонуло. Может быть, для фотографического эффекта дымка и лучше, не знаю. Помню, когда часа через два стал дымок рассеиваться, я сказал, что сейчас снимать надо, и малый соблазнился: «Да, тут даже могут цвета флага выйти, шелкну еще раз, такой патетический кадр, во мгле, в мути дождевой, туман и пасмурно, Белый дом... Освещенное оно так клево». Кстати, окна почти темные, непонятно, было ли там заседание. Наверное, заседание было самое номинальное к концу вечера.

Прошла какая дама через наши цепи, стали говорить, что это артистка известная. Потом впереди свет зашарил на баррикаде, баррикада была метров за 100, на мосту. Там, конечно, всё было живописней, корреспонденты всё время что-то снимали, и, в частности, был корреспондент с фонарем белым, ярким, с батареей на поясе... Я видел в Питере у канадца-телевизионщика такой фонарь, светится как настоящая фара, и минут двадцать он может так жить.

Справа стоял блондин, нерусский паренек, в ковбеечке. Вообще ночь была не очень холодная. Я свитер надел: промозгло, дождик... а парнишка стоял в ковбойке. Около него всё время крутилась дама с зонтом, сестра его, что ли, и всё время говорила про бабушку: ты же бабушку убьешь, пойдешь позвони. А где позвонить? На тысячу народу один, может быть, автомат, и никто не знал толком, где он, может быть, через несколько оцеплений надо пройти.

Подошел малый вроде бы в форме, вроде бы солдат, в зеленом. Голова перевязанная, на перевязке кровь запекавшаяся. Сказал, что людей задавило. Упорный слух был, что задавило непонятно сколько людей, и так ужасно задавило, что не могут разобраться с останками. (Не знаю, насколько это правда, насколько нет, но тогда назывались другие цифры: пять задавленных и один застреленный.) Когда этот малый подошел и доложил, то сбоку раздалось крикание: «И зачем он это всё говорит?» И все поняли, что действия начались, что прут, людей

давят. Говорили, что женщина остановила бронетанковый батальон. И что дан приказ: никаких женщин; кто особенно упирается – давить, а кто выступает – стрелять. И что офицер в какого-то активиста стрелял.

Тут, конечно, дама с зонтиком совсем взбеленилась на парня, ей очень хотелось, чтобы он шел домой. Потому что действительно тут что-то будет (а может, и ничего не будет).

Я, честно говоря, думал, что хорошего-то будет мало, и даже был уверен, что придется газа глотнуть. И ничего хорошего для себя я от этого газа не ждал, у меня и так глотка и бронхи никуда не годятся. Ну, так или иначе, народу тоже много. Газ тоже можно по-разному глотнуть. Нам дали тряпочки: кто-то отложил, кто-то решил тут же в луже намочить. Я намочил, отжал, положил в карман справа, потому что, если будем держаться локтями, только так можно будет ее из кармана кистью руки взять. Если вокруг шеи повязать, потом на нижнюю челюсть надвинуть, будет держаться. На лоб мне что-то не захотелось, а на шее платок – нормально. Если со лба оно слезет на глаза – точно уже ничего не увидишь. А малый рядом стоит, тряпку переминает, не знает, что с ней делать. «У тебя что, платка нет, на тебе платок, повяжи вокруг шеи, как я». Подвязался этим платком и ушел, видимо, все-таки к бабушке, потому что больше я его не видел.

До часу ночи постояли, ничего не происходит. Несколько расслабились, разбрелись, то да се... Достояли до двух. Чувствую, что стало тошно, целый день переминались, дергались, ноги не стоят. «Товарищ командир, я пойду к смене, часик посижу». Вернулся – лица какие-то несколько иные, в цепи уже всё чуть-чуть по-другому. Нет одного заметного активиста, большого, с радиоприемником. Он пришел прямо с радиоприемником, на антенне нацепил трехцветный флаг, и сразу стал заместителем Игоря.

Командиров я видел двоих. В нашей двадцатке – Игорь, и над всеми тремя двадцатками еще один. Вообще же двадцаток, наверно, должно было быть на этом месте больше трех... Но я помню три двадцатки, на нашей стороне, видно. До середины осевой. Мы встали, кстати, очень близко к осевой. Несколько правее. Если они будут как раз соблюдать правила движения, то мы несколько в стороне от потока окажемся, а не прямо перед ним, перед техникой.

В какой-то момент пришли новые сведения о происходящем, и нас предупредили, что бронетехнику надо будет пропускать. А ставить живые заграждения нечего.

Радио говорило плохо, питались самодельным вещанием. Умельцы-самодельцы вещали как раз на эту площадь. Тут было слышно у Белого дома тем, у кого был транзистор, кто поймал. Ну и что-то через динамик доносилось отрывочно. Хорошо помню текст объявления, инструкции: по-моему, это читалось, когда я был еще наверху, на эспланаде. Что если слезоточивый газ, «черемуха», можно посоветовать только одно: промой глаза, прополощи горло, и больше я вам, дорогие друзья, ничем не смогу помочь. Таким упавшим, но очень сердечным, душевным голосом. И тут у меня смутно забрезжило, что тут не совсем ладно. Потом спросил у кого-то – точно, это считается самое вредное дело при слезоточивом газе – вода, газу только того и надо, он начинает разъедать еще лучше. И, оказывается, есть такое правило: никаких промываний, никаких полосканий.

Стрельба велась, пулеметные выстрелы и очереди. Думаю, что это была не та стрельба, которая разразилась, когда был инцидент (стрельба интенсивная и массированная, палили несколько пулеметов с БТРа и палили несколько солдат в воздух, когда перескакивали из одного БТРа в другой). Тут немножко по-другому. Было несколько выстрелов, очень гулко от здания СЭВ, от самого здания Белого дома, от здания левее моста, большого такого. Неприятно, близко совсем, прямо у нас за спиной, и каждый раз ревут: «Позор! Позор!». Я не знаю, что это была за стрельба, но сейчас думаю, что, может быть, и пьяная. Потому что потом командир начал нам внушать: если увидите пьяных, вы не поддавайтесь, ходят разные, провоцируют, пьяные сволочи. Видимо, были известия, что не всё в порядке в тылу, что какие-то люди ведут себя не совсем так как надо, и через какое-то время мы увидели двух ребят в форме, они вели

какого-то третьего, пониже ростом, крепко взявши под руки с обеих сторон. Кажется, потом уже стрельбы не было, всё это тарахтело примерно часов до двух.

В начале четвертого я попросил сменить себя, глотнул водички, это очень кстати было. Ходили предлагали и еду, но я есть не стал: и не хотелось, и были мысли, что если правда пуля или не пуля саданет как следует в брюхо, то ничего хорошего, если оно будет полное. Носили какое-то питье...

Какие-то новые лица появились. Муж с женой, хоть и говорили, что женщинам надо встать назад. Женщина очень боевая, с рюкзаком, туристским. Заводные ребята, чрезвычайно. И еще какая-то дама была... И человек, которому сказали, что он южной национальности, и он посмотрел на сказавшего: «Дурак ты дурак». Были ребята молодые двое, и всё время друг другу: «Ты провокатор!» – «Нет, ты – провокатор!» Баловались, грелись, резвились, несколько нервно, возбужденно.

Но вообще про провокаторов нам много говорили. Объясняли, что нужно высматривать, чтобы ни у кого не было бутылок, никакого оружия, всего, что может быть похожим на оружие. Говорили, что зонты – это очень хорошо. Какие-то люди проходили с угрожающего вида палками, палки нелепые, обрезки досок, не строганых. Эти палки опасны даже если их просто кто-то возьмет рукой, сразу куча заноз. Драться ими как раз неудобно. Какие-то пацаны-недомерки ходили с этими палками. А бутылок, говорили, вообще не надо, во-первых, чтобы не было пьянства, а во-вторых, недоразумений, бутылки с зажигательной горючей смесью можно использовать как оружие.

Помню ехидного бородатого малого, который всё время говорил, что он вроде как нарылся на эти танки, что он сейчас покажет, как надо с ними бой вести. Объяснял командиру про бутылки, а командир нам потом говорил, что лезть на танки не наше дело, для этого стоят специальные люди. И, видимо, какие-то люди с оружием были, как минимум, с бутылками на баррикадах. Думаю, что и не только с бутылками. Известный эпизод, который стоил троим людям жизни, как раз с применением бутылок и был связан.

Парень с бородой всё время что-то говорил, метко и ехидно. Очень удачно выразился, когда в очередной раз произошло шевеление: «Лягушонка в коробчонке едет». Мы смотрели в сторону Кутузовского проспекта, откуда, как нам было сказано уже после того, как я вернулся к четверем утра в цепь, из Кубинки идут десантные части. Уже летели доклады, что десантники там-то, что вступают в Голицыно, на Кольцевую дорогу, на Кутузовский проспект... И действительно, что-то происходило. Во-первых, под мостом какое-то движение: братание или перебранки, не знаю. И всё время что-то мерещилось в перспективе, дым: то ли мотор горит, то ли танк какой.

Танки стояли справа от меня и слева от моста, не меньше четырех, и один БТРчик. Иногда они начинали дымить, железо крутить, вверх-вниз орудие. Один в нас целился, башню поворачивает – звук жутковатый. Дым начинал идти подсвеченный, дизельный какой-то. Шевеление света по стенам. И каждый думал, что уже начинают переть на баррикады. Мне было сразу понятно, что троллейбус танку не помеха, БТР еще будет думать, а танк спокойно поедет с троллейбусом на голове. Вообще справиться с нами просто: раздвинут заграждения и пойдет или ВДВ с боем, с огнем, или пойдут со щитами и палками, но, видимо, и с газом, а сами в противогазах. И казалось, что уже начинается какой-то шум, но оказалась только «лягушонка в коробчонке».

После четырех, когда ничего все-таки не произошло, то я отлучился, пардон, в сортир. Он как раз на набережной, перед Домом. Всё время какие-то жуткие звуки, шумы, и вдруг начинается рев, скрежет, грохотание. Это какие-то молодцы приехали нас подбодрить, какая-то группа из Ленинграда, что ли⁷⁰. У них мощный динамик; говорят, кто хочет объявлять, идите

⁷⁰ Возможно, имеются в виду, в частности, Константин Кинчев, Гарик Сукачев. Рок как таковой Некрасов не любил и

к нам объявлять. Объявлений не слышал, но ревы и попытки сыграть были. Какая именно музыка, не помню: по понятиям этих групп, настоящая, а по мне – безобразный шум... Перед тем еще какая-то женщина спела: «Наденьте погоны, корнет Оболенский, раздайте ордена»⁷¹. Она, наверное, хорошо спела, но я эту песню не люблю и был рад, когда она закончилась. А уж ленинградская музыка совсем никуда не годилась, не музыка, а какая-то бестолковщина, особенно с этой неудачной акустической системой. Еще подъехали барды, как раз когда я сидел под козырьком, караулил⁷². Парень рядом со мной сказал: «Ну, “Аврора” приехала, причалила, сейчас будет палить по Белому дому». Потом выяснилось, что Силаев⁷³ их вызвал, три или четыре барда, и они светом как-то помогали, чем это помогало – неясно, но вроде как ободряло...

последовательно высказывался о нем демонстративно несправедливо; заметим, однако, что выступления Кинчева у Белого дома оценивались критически и мемуаристами с совершенно иными, чем у Некрасова, музыкальными вкусами: «К вечеру появился Костя Кинчев из “Алисы”. Пел плохо, зато курил среди бутылок с зажигательной смесью, а там бензин. Я был рад, когда он ушел» (анархист О. Кокотов, цит. по: <http://alisa-tver.ru/putch.html>; дата доступа: 04.03.2020).

⁷¹ Некрасов искажает слова не нравящейся ему песни «Поручик Голицын», возможно, нарочно.

⁷² Игорь Тальков? Александр Горodницкий?

⁷³ Иван Степанович Силаев, председатель Совета министров (1990–1991).

Из интервью В.Г. Кулакову

Расшифровка части интервью, данных Некрасовым литературному критику В.Г. Кулакову (судя по пометам на кассетах, с лета 1989 до зимы 1990–1991 гг.). Среди этих разговоров есть посвященные подробному обсуждению выставки «Другое искусство» (на кассете помета с датой разговора: 12.01.1991) под непосредственным от нее впечатлением; возможно, необходимость поговорить об этой выставке и стала поводом для всего цикла разговоров.

Аудиозаписи любезно переданы нам интервьюером. Расшифровка части двух разговоров, датированная 1990 годом, в сокращении опубл.: Кулаков Вл. Поэзия как факт. М.: НЛО, 1999. Разговоры о Лианозове и конкретизме в нашей расшифровке публиковались в сетевом журнале «Цирк “Олимп”» (2019, №№ 64–63).

...Моя школа – 170-я. Ее, кроме меня, окончил Андрей Миронов (годом позже).

Вл. К. С Мироновым знакомы были?

Вс. Н. Да, он был очень яркой фигурой, всегда выступал на конференциях. У нас была очень активная литературная деятельность, и «конференции» проводились, то есть совместные вечера с 10 «А» классом женской школы, но не 635-й, которая совсем рядом, в одном дворе, за забором (когда сделали раздельное обучение, забор и воздвигли). Почему-то полагалось нам водиться с классом «А», из сто... боюсь соврать: 65-й номер или 179-й, где-то на Дмитровке, на улице Чехова, за театром Комсомола. Школа знаменита тем, что там училась поэтесса Тамара Жирмунская. Но тогда, конечно, неизвестно было, что она поэтесса, это выяснилось уже потом, и все рассказывали нам, что она проходила собеседование с самим Долматовским. Училась в Литературном институте. Тамара Жирмунская блистала тем, что говорила на всех вечерах монолог Татьяны из «Евгения Онегина».

Наш класс был «В», и были еще «Г» и «Д», по-моему. Класс «Г» был самый интересный. У меня и сейчас друзья больше из этого класса. Один, близкий, Юлий Остринский, другой, с самого первого класса, – Виталий Бедев из нашего класса, совсем свой. Класс «Г» – большие интеллектуалы, литературу у них преподавал Сан Саныч⁷⁴, про него разные истории рассказывали.

Наша учительница литературы – Лидия Герасимовна Бронштейн, скромная, небольшого размера, но очень большой суровости женщина. Она нас в строгости держала, но тем не менее конференции разрешались и проводились. Я тоже выступал, что-то такое молоть должен был, и это называлось «доклад». Сначала мне казалось, что абсолютная чепуха, а потом немножко втянулся, и, думаю, тогда в первый раз заинтересовало меня литературоведение.

Именно из-за такой конференции я увидел книгу Чуковского двадцатых годов издания – самое лучшее, что про Некрасова было написано. И я вдруг понял, как там всё точно.

Некрасова-то я раньше еще прочел... И хорошо помню, что прочел еще в Мариуполе, как только приехал. Темнота, электричества не было, при керосине жили, жутковатое житье... Читаешь дореволюционные стихи, и так интересно: ты ничего не понимаешь вроде бы, «Современники» какие-нибудь или «О погоде», – но почему-то очень понятно. А Лермонтова я прочел в Казани в эвакуации, и тоже было всё понятно. Пушкина – как-то постепенно, тут не было времени отчетливого знакомства.

Есенин попался почему-то году в 1946-м у тети. Только переехали на завод Ильича, и смотрю – книжечка лежит какая-то непонятная, с березками на обложке, сборник Есенина. И тоже очень здорово.

⁷⁴ Александр Александрович Пластинин.

Маяковского моя мама усиленно в меня вкладывала. И я действительно его очень любил. Тут вполне совпадали наши с мамой намерения и результаты. Это еще до войны. Да, до войны еще.

Вл. К. Какой Маяковский?

Вс. Н. Тогда Маяковский хрестоматийный, стихи для детей, что-то еще. Это везде тогда было, хоть по радио, и было совсем неплохо. Какие-нибудь стихи о вселении литейщика Ивана Козырева... «Советский паспорт» звучал очень недурственно. Вообще все впечатления были по радиоприемнику. У нас был «Си» тогда, диковинный. Отец приспособил наушники прямо в кровать. Я болел очень. Ббольшую, существенную часть жизни проводил больной в кровати. По-моему, всеми детскими болезнями переболел. Видимо, отец вспоминал предшествующую эпоху, безумное увлечение радиолюбительством, детекторные приемники.

Так вот – Чуковский. Я к Некрасову давно не обращался, и тут вдруг: пишут, и как точно, точно так, как я чувствую, и надо же, как интересно. Это было, по-моему, в девятом классе.

А что касается интереса к поэзии и к литературе, я бы сказал так: кроме тех вещей, о которых я сейчас говорил, были острые, резкие вспышки. Во-первых, Ильф и Петров. И вот я должен добром помянуть малоприятного и совершенно несимпатичного человека, в одной квартире с которым мне долго пришлось жить, – Апановича, родственника моего отчима, – помянуть добром по двум причинам⁷⁵. Во-первых, он меня приохотил к Ильфу и Петрову. Он был из тех людей, которые наизусть знали пассажи из Ильфа и Петрова (правда, он их перевирал).

Есть книжка 1948 года, из дешевой серии, бумажные обложечки. Ильфа и Петрова только-только успели в 1948 году издать, и сразу перекрыли. Я в Ильфе и Петрове до сих пор не разочарован. Считаю, что Булгаков их не отменяет, он сам по себе, а Ильф с Петровым сами по себе. Одно другого по-своему не хуже. Зощенко я уже, наверное, прочел в более сознательном возрасте, классе в девятом, чуть позднее.

А в классе седьмом или восьмом мне вот что попало: пародии Архангельского. Это было упоение, это было, конечно, замечательно. Я и сейчас их люблю так же, как и тогда. Настоящие литературные впечатления, как завязка, в точку: что такое литература, как здорово, когда хочется запоминать и цитировать. И естественно, первое, что я запомнил и читал наизусть, – пародия на Зощенко. Это школа, после которой человек, я думаю, должен определиться: или заболеть этим делом на всю жизнь, или все-таки ему всё равно.

Вл. К. Школа была, видимо, особенная, атмосфера, чувствуется, очень интеллектуальная.

Вс. Н. Нет, атмосферы интеллектуальной отнюдь не было, по крайней мере в нашем классе. Вот в соседнем, у «гэшников», там, где Сан Саныч, – у них было.

Еще один знаменитый человек из нашего класса – Игорь Гунст, он сейчас архитектор и сильно разбушевался в последние годы: очень много захотел перестраивать и чуть ли не сносить. Успел разгородить все наши дворы. Теперь наш двор дома № 17 – то же самое, что двор № 15. Сзади улицы Петровки как бы своя улица образовалась, сбоку, по дворам. По-моему, не очень удачно придумал... Вот, так сказать, интеллектуальная фигура. Еще был пижон большой Гена Заславский. Игорь Фрейденберг, которого я ужасно не любил, просто до драки дело доходило, потому что он задавака был. Я даже впал в антисемитизм под влиянием своего малоприятного родственника Апановича: свою злобу к этому Игорю, который всё время неизвестно с какой радости задавался и задира́л нос, стал переносить, обобщать... Но

⁷⁵ Иван Константинович Апанович (1907–1989) – зять отчима Некрасова. Репрессирован в 1941 году, помилован в 1942 году. Ушел на фронт, закончил войну в звании подполковника; кавалер орденов Отечественной войны II степени и Славы III степени. Железнодорожник, начальник станции «Москва-Белорусская товарная». См. о нем: <https://www.polmoskva.ru/people/1051486/> (дата доступа: 17.01.2021); <https://pamyat-naroda.ru/awards/26576471> (дата доступа: 17.01.2021); <https://1418museum.ru/heroes/28345337/> (дата доступа: 17.01.2021).

вот 1953 год и дело врачей, и весь антисемитизм у меня очень крепко отбило, отшибло, я сразу понял, в чем дело. Может, поздновато, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть лет в восемнадцать я уже начал понимать, что к чему, и понял зато хорошо.

За что спасибо этому Апановичу, – он Сталина костерил как только мог. Конечно, делал это аккуратно, хотя и очень шумно, пугал этим домашних: и тестя, и жену, но дальше этого дело не шло, он был человек хитрый, при всей своей якобы необузданности безумной и контуженности.

Мы уже начали отдавать себе отчет в том, что официальная пропаганда – это действительно очень смешно. Наверное, и благодаря Апановичу тоже. Думаю, что при общей нашей ехидности и любви к Ильфу и Зощенко, мы – я и знакомые ребята – и сами бы догадались, что это смешно. И догадывались. Но Апанович костерил беспощадно, все точки расставлял: «Чушь какая! Он и экономист, и языковед, и великий стратег, он то, он се».

Вл. К. Это он перед кем? Перед домашними, да?

Вс. Н. Конечно, перед домашними. Не перед публикой же. Но главное сказал: все хвалят, на все руки мастер, – это-то и смешно, таких людей просто не бывает и не может быть никогда. Здравое, простое и несомненное понимание. Что Сталин всех посажал, этого я не знал. Какая-то родственница первой жены отчима Семена Федоровича пострадала, кто-то еще пострадал, но говорили про это невнятно: кто-то умер, кто-то заболел, а кто-то, может быть, в тюрьме сидит. Но очень близких репрессии не задел⁷⁶. А вот несуразность восхвалений Сталина, какой он всемогущий и вездесущий, – это было очевидно.

Вл. К. Среди школьников не было таких разговоров?

Вс. Н. Нет, я таких разговоров не помню. Вернее, могу сказать, что сам даже вел такие разговоры, но уже после смерти Сталина.

Вл. К. А какая-нибудь комсомольская, коммунистическая одержимость была в школе? Искренняя...

Вс. Н. Конечно, на всех собраниях кто-то вылезает и начинает, как говорили тогда, партийные припадки. (Говорили в кулуарах.) Игоря Фрейденберга я не любил еще и за эту казенность. Он всегда был пионервожатый, с шестого класса, носил красный флаг, у него в отряде

⁷⁶ Некрасов, кажется, не знал, что его собственный отец, Николай Матвеевич, избежавший гибели после революции (ошибочно считалось, что он, директор гимназии в Мокшане и член партии кадетов, был расстрелян в 1918 г.; см., напр.: <http://musei.penza.memo.ru/mokshan-vremya-sobirat-kamni-k339p1.html>; дата доступа: 18.01.2021), видимо, погиб в 1943 г. в лагере на острове Свияжске – от голода, как и множество других там, – осужденный за «клевету на колхозное строительство и условия жизни колхозников» (Книга памяти жертв политических репрессий: в 22 т. Т. 7. Казань: Ин-т истории АН Татарстана, 2003; <https://base.memo.ru/person/show/522534>; дата доступа: 07.09.2021); в семейных бумагах хранилось свидетельство о смерти с другой датой (1944) и без упоминания лагеря (во время войны, в эвакуации, мать и отец Некрасова разошлись, поэтому сын и знал так мало о судьбе Николая Матвеевича). Правда, в одном раннем стихотворении («Мама знает»), не публиковавшемся Некрасовым, есть строчка «Есть убитые отцы...», но контекст не проясняет ее смысла (см. машинописный сборник 1959 г. «Ерунда сует»: <https://philology.hse.ru/vnekrasov-archive/>). Двоюродный дед Некрасова по отцу, священник Константин Никитич Некрасов (священномученик Константин Можайский), был расстрелян в 1937 г. (погребен на Бутовском полигоне). Предки Некрасова по отцовской линии устанавливаются нами предположительно, причем эти предположения отчасти противоречат словам самого Некрасова, впрочем, не вполне уверенным: «У отца <отец> – священник на Рязанщине. Его я застал чуть-чуть: жил у нас в квартирке <т. е. до войны на Тихвинке>, туберкулезный, скорей всего, умирал. Не помню, мал был, и спросить не у кого» (интервью Елене Калашниковой для «Русского журнала», опубл. 3 июня 2003 г.: <http://old.russ.ru/krug/20030731.html> (дата доступа: 8.10.2021)). «Священниками на Рязанщине» были предки жены Некрасова, А.И. Журавлевой: может, отсюда некоторая аберрация памяти? Понятно, что фамилия «Некрасов» очень распространена среди русского духовенства, но священника Матвея Некрасова, который годился бы Некрасову в деды и который имел бы сына Николая, погибшего во время войны в Казани, пока удастся обнаружить не на Рязанщине, а ближе к Москве: это Матвей Никитич, последний настоятель Воскресенского собора в Волоколамске, умерший, как сообщается, в 1929 году. Какого старика встречал Некрасов в раннем детстве? Для Николая Матвеевича брак с Валентиной Филипповной был вторым, – может, на Тихвинке жил его первый тесть? Отец жены Некрасова, Анны Ивановны Журавлевой, Иван Игнатьевич Чукин (1891–?), главный инженер Бесланского маисового комбината, был арестован в 1942 году; судя по доступным сведениям, в 1943 году «дело прекращено за недоказанностью обвинения», но дальнейшая судьба Чукина неизвестна. Первый муж матери Некрасова, Александр Николаевич Секиринский, выпускник физико-математического факультета Московского университета, учитель Ногайской гимназии, погиб при неизвестных нам обстоятельствах во время Гражданской войны.

детишки были, первоклассники. Может, он был педагог прирожденный, а может, просто ему надо было водиться с теми, кого он умней. Со злости на всё это дело я, помню, классе тоже в шестом, наверное, нацепил красный галстук и пытался ходить в галстук (и в пиджаке) года два или три. Но потом к галстукам охладел. Кое-кто из ребят тоже так ходил, но мало кто. В основном кто постарше, а я пытался подражать.

В шахматы играл и одно время чувствовал себя большим интеллигентом и шахматистом, играл неплохо, особенно сначала успехи были, а в старших классах стало немножко скучно, и слишком много времени требует, и толку мало. В общем, я класса с девятого уже в шахматисты особо не лез, у меня остался мой второй разряд, и всё.

Вл. К. Вы были пионером?

Вс. Н. Ну конечно. Не помню этого момента, но, наверное, должен был быть прием в пионеры. Что вступил в комсомол, и рано, в минимальном возрасте, в 14 лет, – помню.

Вл. К. А были тогда какие-то просветления уже были насчет режима?

Вс. Н. Я бы не сказал. Единственное, в чем у меня было просветление – очень удивился постановлению 1946 года, потому что я знал, кто такой Зоценко. И за что ругает этого Зоценко Жданов, – было непонятно. Почему теперь надо считать, что Зоценко – это плохо. Не могу сказать, что особенно много об этом думал и для меня это был вопрос драматический, что надо было решать, за Зоценко ты или за Жданова, и я ночей не спал, – такого не было. Скорее как-то так: зачем? за что? вроде бы смешной же писатель. А потом последовали другие постановления, кампания 1949 года, уже там отзвуки биологии, уже тут что-то такое с языкознанием подоспевает, с экономикой... Слишком одинаковые кампании и доверия, мягко говоря, не вызывали.

Помню: 1949 год, шахматы, командное первенство, большой зал (на огромном количестве досок играли, не меньше, по-моему, чем на пятидесяти). Носятся какие-то такие реплики: «Ну ты, космополит безродный, ха-ха-ха»... Все веселятся, всем очень весело. Никто как бы не подозревает ничего плохого. Может, кто и подозревает, но не говорит. Ребята в галстуках сидят (не пионерских), старались быть взрослыми. Самые маленькие – из шестого класса...

Что касается комсомола и всякой казенщины, то здесь было отталкивание чисто вкусовое: всё это было связано с казенными фразами, со стереотипным поведением, с позами как у этого Игоря Фрейденберга, с разными неприятными вещами вроде обязаловок. Над этим всем, конечно, принято было посмеиваться. Привычка подхихикивать, несколько нигилистическая, универсальная. Может быть, и скудоумная, потому что без соображения к этому делу подходили, но тогда эта привычка работала как спасительная.

А просветлением я бы это не назвал. Просветление – то есть когда я начал соображать – это уже позднее, в классе, наверное, восьмом-девятом. И конечно, смерть Сталина всё поставила на свое место сразу. В 1953 году я как раз закончил школу.

Да, десятый класс. Были, конечно, и до того разговоры, споры, «Голос Америки», у нас была компания «гэшников»... И вот почему еще класс «Г» был такой аристократией: интернационал, из общаги в нынешней гостинице «Астория» или «Центральной»...

Тогда гостиница «Центральная» называлась «Люкс». Что значит «называлась» – какое-то название проглядывалось, затертое такое... Нужно было знать, что это «Люкс». Официально вроде не называлось «Люкс», а было непонятно что. Вращающиеся двери, сидит портье. Общежитие членов Интернационала. Очень много испанских семей. В классе «Г» училось по крайней мере двое испанцев, симпатичные ребята. У нас в классе был один очень интересный и симпатичный парень, смешной. По-моему, он тоже или испанец, или как-то с ними связан. Сын или, может быть, приемный сын укротительницы. Водил нас к себе домой, а там медведь на цепи, страшно интересно.

И вот ребята из «Люкса» ужасно много дискутировали. Друг мой Юлий Остринский, из этого «Г» класса, он навспоминал бы больше... Что обсуждали? Со стороны это выглядело

свистом большим и трепом. Не то что я был умнее их, но осадок такой был. И такое оставалось впечатление и отношение от этого всего: наплевательское, и не по-глупому наплевательское. Кстати, потом это отношение очень пригодились.

Что-то из «Голоса Америки», какие-то анекдоты, но в систему до 1953 года это всё отчетливо не складывалось.

В похоронах я не участвовал, но мимо шел. Моя жертва была – хороший пыльник, плащ, светлый, песочного цвета. Пролезать пришлось под каким-то грузовиком, а там было солидным вымазано, и я присадил на плащ солидол, потом скипидаром выводил, еще хуже, желтизна размазалась, ужас. Вот этого я ни Сталину и никому уже не простил до конца дней. Любимая вещь, шпионы в кино в таких ходят, еще шляпа к нему.

Вл. К. Это вы в толпу пробрались?

Вс. Н. Просто там, где я жил, разгородили, а нужно было пройти. Суешь солдатику паспорт или что, он не понимает ни черта, и одно осталось – под машиной пролезть.

Я жил от своей школы в двух шагах, из нашего двора можно было перейти в двор школы. Тогда было всё дико загорожено сваями (сейчас-то Игорь Гунст это убрал). Придумали какие-то такие заборы, барьеры, кирпич девать было некуда. И мы одно время наладились преодолевать эти барьеры, альпинизмом занялись. Вешали проволоку, провода, всякую дрянь, чтобы залезать. Практически это отнимало больше времени, чем обход кругом, но – вопрос принципа. И вот на это всё накладывался Сталин нелепый, нужно было обегать больше, потому что еще где-то перегородили, весь квартал обходить. Опаздывать в школу стали из-за этого (а с опозданиями как раз тогда очень боролись).

И вот я в этот раз опоздал сильно. У нас был учитель Валерий Самойлович Бавер, партийный человек, преподавал Конституцию. Кстати говоря, вот что еще заставляло мозги работать: Конституция по Валерию Самойловичу. Он был действительно блестящий преподаватель, его очень любили, но что он делал: преподавал вранье (общественные науки в школьном варианте). Вот он нас всему этому делу учил, и приходилось ему полу-весело, полу-гордо рапортовать и отвечать. Понимали, что здесь что-то не ладится; собственно, не ладится ничего. Бодро улыбнешься, вроде и перемигнешься с ним. Но он ни в коем случае слабину не допускал, чуть кто чуть что – он сразу припечатает. Нет, подлостей от него никаких не помню, а просто воспитание было такое.

«Некрасов, опять опоздали!» – А я, не будь дурак: «Последнее сообщение слушал».

Вл. К. То есть вы первым в школе сказали о смерти Сталина?

Вс. Н. Нет, я не первым. С утра шло по нарастающей, прибавлялось по словечку: кома, коллапс, что-то еще, дыхание Чейна-Стокса... И вот что-то из этих особенных слов я повторил, чего они не слышали. Предположим, два слышали, а третье нет, и получалось, что я не вру (хотя врал на самом деле). «Имея в виду нынешние события, – суровым голосом сказал Бавер, сжимая в кулаке большую указку, – вроде как я вас прощаю на этот раз, садитесь на место».

Вот слез на глазах я не помню. Один, самый вертлявый и юркий человек из нашего класса, Зелигорский, бежит, и кричит мне: «А, ты, коллапс!».

Кстати, еще что я запомнил очень хорошо – прекрасная погода была в тот день. Как раз в тот день, когда сообщили о смерти Сталина, вдруг что-то случилось и всё сдвинулось. Была гадкая февральская погода, и – бац! – прекрасный солнечный день.

Про похороны говорили, что черт-те что делается, и лучше туда не лезть, и кому это надо; да и тут, где мы были, тоже, в общем-то, делалось порядочное безобразие, не пройти никуда, протискиваться приходилось, но ничего ужасного. А настроение веселое – это я очень хорошо помню. Немного было и тревожно, то есть понятно было, что событие важное. Но ни скорби, ни страха, что теперь вот нас американцы съедят, – нет, такого не было.

В этом же, кажется, 1953 году (а может, и в следующем) была у меня попытка протыриться в Литературный институт. Я писал стихи, совершенно никуда не годные: и технически неумелые, и фальшивые.

Вл. К. На кого ориентировались?

Вс. Н. Трудно даже сказать. Безусловно, мой кумир был Маяковский, ранний. Я и сейчас его очень, очень и очень. Тройка: Маяковский, Блок и Есенин (сейчас тоже есть тройка, но немножко другая). С Блоком познакомился я, наверное, в классе девятом-десятом. Попался мне Блок 1946 года, большого формата; Есенин – его я по каким-то клочкам собрал, его практически уже нельзя было достать, раздобыть, как и Ильфа с Петровым. Не то чтобы они преследовались, но как-то неоткуда было взять. Страшно нравилось. И нравилось, да и сейчас нравится, не то чтобы обязательно «Москва кабацкая», а просто деревенские стихи. Маяковский первого тома, Маяковский лирических поэм и всего, что на это похоже, – это, наверное, был самый любимый поэт. Да может, он и сейчас им остался. И, наверное, я если старался что-то сделать, то это должно было быть похоже на Маяковского.

Не помню, что у меня были за стихи, но с нудно-вялым ритмом каким-то. Когда-то казалось, что это обязательный признак начинающего: должен быть какой сдвиг расхлябанный, который делает как бы необязательным размер. Ритм был какой-то общий, неизбежный как бы. И просто удивительно, как меняются эпохи. Тогда ведь казалось, что это вечный ритм, без всякого советского графоманства, с отливом двадцатых годов. Похоже, может быть, на какого-нибудь Мариенгофа или Кузмина плохого. Когда они просто начинают версифицировать, причем не обращая внимания на технику этого дела, а избегая техники. Приблизительно делают.

Слава Богу, конечно, Литературный институт моими стихами не заинтересовался. Но надо было куда-то поступать, чтобы в армию не загребли, и в первый год я поступал на юридический факультет МГУ. Казалось, что юристом сейчас уже можно быть: дескать, теперь как-то всё лучше, посправедливей как-то... Но главным образом просто потому, что – ну а что, ну а куда? Куда-то надо. Я чувствовал, что я гуманитарий и никто другой.

В школе напоследок переэкзаменовка по геометрии. Переэкзаменовка такая: на выпускном все напились в Доме архитектора, где-то в подвале. Все веселятся, визжат, а у меня на следующий день переэкзаменовка. Утречком я иду домой, уже лето, заря синяя, прекрасная над Москвой-рекой... Аттестат у меня плохой был, с тройками.

Сразу пробовать поступать в филологический я не рискнул: не совсем понятно, как литературу можно изучать. А вот, наверное, в юридический можно, более из общих соображений, несколько смутных. 22 очка я набрал и не поступил. И мне тут сильно не повезло (а может, повезло, не знаю), потому что 22 очка из 25 – вообще-то говоря, это было не так плохо, и я схватил документы и помчался куда-то еще... И если бы не убежал, меня бы взяли в соседний юридический институт. Там брали с 22 баллами, и особенно с удовольствием брали тех, кто сдавал в МГУ. А через полгода этот юридический слили с Университетом. Пришлось поступать черт-те куда по протекции на технологии приготовления пищи в Институт Плеханова.

Но там я проучился всего лишь год. Одну сессию сдал, вторую как-то уж и не захотелось сдавать... Какая-то милая девушка, я помню, дала мне свою тетрадь, что-то нужно было – не то это была теоретическая механика, не то еще что-то. А у меня преподавательница-хамка начинает отбирать тетрадь. Я хвать! «Извините, пожалуйста, – говорю, – я вам отдать не могу. – Как?! Что?!» Шум, крик. В общем, уже пришлось идти на скандал. Ладно, – думаю, – всё равно мне особенно тут не светит. Ушел оттуда и должен был загреметь в армию. Но тут я для передыху съездил в Мариуполь⁷⁷ и там не то чтобы сломал, а сильно повредил ногу правую: неудачно прыгнул на ходу с поезда. Там на море ездили кто на чем, на поездах, на попутках...

⁷⁷ См., напр., написанную в соавторстве с Сергеем Кружковым «Глазковиаду» (1955; машинописные экземпляры есть, например, в фонде А. Гинзбурга в архиве общества «Мемориал» и в Мытищинском краеведческом музее).

Я умел прыгать, уже насобачился, потому что каждый год летом в Мариуполе бывал. А тут что-то подвернулось.

Дали мне отсрочку, год я болтался без дела. И должен сказать, что этот год дал мне для литературы так много, как никакой другой. У меня был друг с первого класса – Алик Русанов, он меня познакомил со стихами Глазкова, Мандельштама, Олейникова... Особенно Мандельштам и Глазков мне понравились, и Глазков заинтересовал больше. Мандельштам – это прекрасно, но «тех времен», а Глазков – тот, кто сейчас живет. Русанов лично его знал и очень много о нем рассказывал: что такое Глазков, который говорит, что он гений, он гений-гений, и как это смешно, как интересно.

Русанов мог писать и сам, шутки-экспромты вроде стихов, здорово, профессионально, но он не выступал с ними, профессия у него была предполагалась другая (инженер). Когда я поступал в институт, он ушел на флот и протрубил там четыре года. Свободного времени в юности у него, правда, всё равно было много... Уже позднее Русанов познакомил меня с Гинзбургом.

Вл. К. Расскажите, пожалуйста, про «безграничного пограничника» («а было время / великий кормчий») – это ощущение довоенного времени? И про «выпустили свет на свежий воздух» – когда возникло ощущение, что воздух пошел? Это из-за института, из-за Лианозова?

Вс. Н. 1953, 1956-й год. Было просто ощущение, что мы живем и освещаемся. До этого жизнь во мгле, во тьме, в голоде, в холоде. После войны – чувство, что живые остались. И другое: что сам начал соображать. «Безграничный пограничник» – это вовсе не довоенное время. До войны про пограничников, в основном про пограничника Карацупу, слушал по радио, про его собаку Индуса, которая, оказывается, с течением времени превратилась в Ингуса. Я с большим удивлением на этого Ингуса наткнулся уже во взрослом состоянии. Ингус был заметный и занимательный, не застил весь свет этот пограничник Карацупа, и еще какие-то, кроме него, были герои.

А в стихах пограничник – это железный занавес. Как раз послевоенные времена. Изоляция цивилизации, борьба с преклонением перед иностранщиной, и эту борьбу я прекрасно помню. Кстати говоря, это способствовало здравому пониманию дел и вещей.

Смехотворность сталинской универсальности была очевидной для мало-мальски соображающего взрослого человека. Сталинский план преобразования природы. Это было уж чересчур, даже для школьника не слишком бойкого, но и не последнего лопуха. Начиная с класса, наверное, седьмого. Это было слишком, вызывало насмешку. А вот борьба с низкоклонством перед Западом вызывала уже не только насмешку, но и озлобление, и приводила даже к становлению, если угодно, каких-то идеалов, ценностей. От противного. Попросту говоря, многие «западные» вещи ведь любили, а вовсе не обезьянничали.

Впечатления военные, военные положительные эмоции, вроде вкусных консервов из американских посылок (когда доставались – очень редко, но бывало). Фильмы американские и английские, «Три мушкетера», «Багдадский вор» – очень здорово. А уж о песенках («Кабачок», «Бомбардировщики», «Мы летим...») и говорить нечего. Кстати, борьба с иностранщиной ведь еще до войны начиналась.

Так же действовала, конечно, кампания против журнала «Звезда» и «Ленинград». Это очень способствовало росту, можно сказать и так, идеологического самосознания широких масс, по крайней мере, учащихся старших классов средней школы. Нельзя было объявить хорошую литературу плохой так просто, безнаказанно. У кого-то, вероятно, мозги калечились, он начинал жить по двойному стандарту, дергался, то туда тумблер, то сюда, то восхищается, то проклинает. Были и такие люди. Но чтобы сознание стало таким и только таким – смешно было и думать, конечно. Здесь у товарищей был крупный просчет. Я уже знал, что стихи Есенина – очень хорошие стихи, с детства знал. Объявить эту поэзию плохой нельзя было для меня. Нельзя было объявить плохими «Золотого тельца», «Двенадцать стульев» и доказать

мне, что это плохо. Я пытался разбираться в этих доказательствах и видел, какие они жалкие и наглые. Тогда и начали соображать, сопротивляться идеологическому давлению. Не то чтобы соображать хорошо и отчетливо и сопротивляться сознательно и активно, но нежелательные для властей ощущения складывались и нарастали.

Достаточно было взглянуть на какую-то открыточку и сосчитать количество этажей в небоскребах (видны были плохо, но все-таки видны) и сравнить с гостиницей «Москва», чтобы заколебались представления, которые нам пытались внушить. А насколько тошнотворное произведение Горького «Город желтого дьявола», ей-богу, – это было всем понятно, что тут особенно нечего размышлять, почему это так плохо. Вранье.

Про это есть неплохая пьеса, «Взрослая дочь молодого человека» (точнее, пьеса с неплохим первым действием).

Забавная, кстати говоря, была советская (давняя очень) традиция, еще с тех времен, которые я не застал, с 1920-х – 1930-х годов, – традиция разоблачений негодной западной музыки, и, естественно, для лучшего обличения надо было такую музыку вывести на сцену: врага же надо знать. Жалкий ход для сокрытия того удовольствия, которое разоблачители сами получали от этой музыки. И все ходили на такие спектакли: «Джон – солдат мира», «Миссурийский вальс» (кажется, в театре на Таганке), «Голос Америки» (театр Советской Армии). Это было модно именно по этой несчастной причине, что хоть в дурацком виде, но можно было показать американцев с их музыкой. И уж, конечно, нарасхват был спектакль «Под шорох твоих ресниц», якобы пародия на Голливуд. Ничего себе пародия. Там, вообще говоря, хорошие были музыканты. Цфасман просто-напросто брал и играл чужую хорошую музыку якобы как свою, да мы и не знали имен. Кто постарше, может быть, пограмотнее – знал, но вообще не вникали, а просто с удовольствием, с наслаждением слушали эстрадные штучки, джаз. Спасибо и на том. Плохо только, что это шалость, ложь, разоблачения какие-то, критика американского образа жизни, американского искусства.

Не у всех вкус одинаковый, конечно, не всем джаз нравится, но кому не нравился – тот просто его не трогал, не пытался делать вид, что он борется с чуждым веянием.

Бороться с советской идеологией (постоянной, ничего с ней поделать нельзя было, никуда ее деть было нельзя), видимо, можно было только ложью. Что и делалось.

Да, возвращаюсь вашему вопросу о стихах «при папе маме / и при Папанине» («мои / папа и мама»). Про Папанина сказать особо нечего, кроме того что каждую зиму была какая-нибудь героическая эпопея. Вот челюскинскую я, собственно, не застал, хотя слово помню очень хорошо. Застал в слишком общем виде. А папанинскую застал. По радио следили за всем этим. И, конечно, папа и мама читали прессу – газеты, журнал «Огонек», который, кстати, я помню: очень красивым по-своему этот был журнал «Огонек». Были и еще иллюстрированные журналы: помню «СССР на стройке» и какие-то зарубежные издания. Всё это очень охотно поглощалось и смотрелось. Папанинцы – то, что проходило на глазах. Потом героический дрейф ледокола «Седов». Каждую зиму полагалось в героические и опаснейшие ситуации попадать советским полярникам. Полярники были главные люди. И когда в какую-то, кажется, уже в последнюю зиму, ничего такого не случилось, то явно чего-то не хватало.

Финскую войну переживали не так, как можно было ожидать. Помню про нее мало, только какую-то вокзальную толчею... И помню синие лампочки, упражнения светомаскировки. Проявлялась тут, видимо, нечистая совесть нашей авиации. Бомбежки финских городов – это большая заслуга нашей армии и советского правительства, одна из самых красивых страниц. Какая там у финнов могла быть авиация... По-моему, она до Ленинграда даже не долетала. Но, тем не менее, синий свет у нас был и изображал собой маскировку, на Павелецкой, Московской железной дороге... Игры с воздушной тревогой: и в Москве было, и в Мариуполь приехал и там застал хари противогазовые. И страхи помню.

Была тогда детская книжка – «Мальчик в противогазе». Еще «Приключения Травки»⁷⁸, про мирное время. Что там? Травка по Москве катается, то ли потерялся, то ли нет; метро, трамвай, троллейбус, автобус, много интересного. А «Мальчик в противогазе» – приключения, ожидаемые от будущего: про учения, как противогаз надевать. Учения и окошки, перекрещенные бумажными полосками, буквой «х», крест-накрест, наискось, я очень хорошо помню, и помню, что это было хоть и интересно, но жутко. Потому что объясняли, в чем тут дело, что может упасть бомба и что от этого будет.

Помню плакаты предвоенные, видимо, в последнюю зиму. Черная краска и ужас: женщина прижимает ребенка в груди. Конечно, это особенно красивый плакат на фоне нашей политики, нашего сочувствия Германии, которую колошматят англо-американские империалисты. Наша страна в красно-розовых тонах, счастливые лица, женское и детское, цветы, знамена вздымаются. Понятное дело, праздник на нашей стороне.

Когда война началась, мы жили на даче, и дачу эту стали бомбить. Ловили шпионов, парашютистов. В малаховском детском саду воспитательница поймала, окружила какого-то деда и орала на него. А он шамкал, огрызался: «Пачпорт? Какой пачпорт? Что пачпорт?» Был слух, что сбили летчицу немецкую.

Кстати, одна из героических эпопей – это эпопея наших летчиц, Расковой, Осипенко и Гризодубовой. Славный экипаж на самолете «Родина» летел, но не совсем долетел, с большими трудностями выбирался из тайги. И была знаменитая фраза, ее потом все повторяли: «Продукты на исходе, питаемся шоколадом». В войну повторяли, когда продукты были на исходе, но шоколадом не питались. Так или иначе, летчицы – это было как-то особенно военновоздушно, и когда сбили кого-то, то, конечно, не летчика, а летчицу. Несколько симметрично по отношению к нашим. И эта сбитая летчица сообщила, что Гитлер велел: «Если на Москву бомбы не свалите, то кидайте уж на Малаховку». Видимо, требовалось объяснить тот факт, что на Малаховку упало несколько бомб. Одна бомба, по-моему, попала в почту, а другие сильно потревожили наш поселок. В частности, у нас перекосилась труба и домишко перекосился, помню, как хлопнуло по-страшному в стенку. У меня над изголовьем Калинин висел, барельеф, продавались тогда на рынке такие: на розовом фоне голубой Калинин или, наоборот, на голубом розовый, – этот барельеф от удара со стены соскочил и через меня перелетел, мать потом долго говорила, что случай спас. Хотя барельеф этот был гипсовый, легкий, ничего б не случилось, если б он меня по башке стукнул...

Было достаточно тревоги и паники, но и интересно было тоже: появились хорошо выполненные плакаты с немецкими самолетами, и можно было вникать, кто там Ю-88, кто хенкель, а кто там мессерешмитт; и даже дорнье какой-то был. Мессершмитт двухмоторный, одномоторный. Пикирующие бомбардировщики, юнкерс транспортный, большой. Юнкерс самый интересный.

Прожектора, которые по земле шарили, – это было, конечно, зрелище. Примерно в километре от нас стояла зенитная батарея, в лесочке, на болотце, куда раньше ходили гулять. Пушки сильно лупили. Мы уже знали, что бомба летит с воем, и после взрыв. А когда пушка – наоборот, сначала выстрел, а вой уже потом, и немножко слышно, как снаряд летит. Странно было. Я хорошо помню звук в начале полета, казалось здорово, только плохо, что сыпались осколки.

Бомб в нас попало все-таки не так много, несколько штук. А осколки во время налета – это был серьезный, постоянно действующий фактор. Они сыпались здорово, густо, и сыпались головки снарядов тоже. Ребята их, конечно, собирали. У меня было таких осколков много и головок штуки две, алюминиевые, они, по-моему, даже вращались. Снаряды рваные, красивые такие, страшные куски металла. Народ колотило, и очень скоро все начали всерьез прятаться

⁷⁸ Повесть С. Розанова написана в 1928 г., переделана в 1951-м.

в щели. Одно дело испуг общий предвоенный, пропаганда, а другое дело реальная опасность. Стали рыть блиндажи во дворах, щели серьезные, подальше от дома. Были рекомендации в брошюрках: что делать, если дом рухнет. К нашим поселкам, тогда сплошь фанерным, это на самом деле не относилось. Дома были из фанеры, из дощечек, что там могло рухнуть, чем завалить?

Тем не менее, на положенном расстоянии рыли блиндажи, и отец вырыл, и накат на блиндаже был. Рекомендовалось делать окопы, как пехоте, и тогда ты уцелеешь. Предполагался ущерб от бомбежки фугасами. Но люди поумнее не стали землю рыть, кубометры перебрасывать, а делали по-другому: наши соседи навес поставили, становились под навес и смотрели на прожектора, иногда на трассирующие пули, как на фейерверк. Их защищало от осколков, которые нет-нет да и стукнут где-то поблизости по крыше. Соседи были вполне довольны, но некоторые, кстати, не могли лезть в щель, развивалась клаустрофобия. Наш сосед в щель даже провел электричество, аккумулятор поставил... кстати, света тогда еще не было, были керосинки, а у него в щели освещение, чуть ли не радио, хозяйственный человек.

Наступление. Мне кажется, я даже помню знаменитый пожар в Филях, зарево на полнеба. Только мы едва ли могли видеть именно завод в Филях, слишком далеко.

Уже когда в Москву переехали, бомба грохнула прямо в типографию газеты «Московская правда», у нас на Петровке, во дворе нашего дома. (Мы в эту типографию ходили от нашей школы, лазали через стену.) Это за день – за два до моего переезда на Петровку. Все стекла выбиты.

Там был аквариум, я этот аквариум видел до войны, и он погиб, конечно, вся вода вылилась, рыбам конец пришел.

Крутые времена начались после возвращения в Москву, хотелось есть, а почему-то не удавалось наесться досыта. Это продолжалось с 1941 по 1945 год. Потом уехал к тете и там наелся.

Воздушная тревога – и все сыпались вниз, в подвал. Бомбоубежище было в подвале дома номер 17, большого, семиэтажного, на Петровке. Мы шастали по Москве. Во время бомбежки люди залезали в метро, а мы сами, по-моему, шли домой. Полагалось загонять, но не очень сурово загоняли, все и так всё понимали. Светомаскировка началась, шторы – это всё я помню отлично. Паника, со двора кричат: вдруг свет видно? Абсолютнейшая, конечно, чепуха для большого города, дрессировка населения; ну, может, отчасти терапия: люди делают всё, что могут, и таким вот способом обороняются. Про затемнение было очень здорово написано в «Великом противостоянии» Кассиля, как снимают маскировку и как это переживается.

Я этого не пережил, увидел в готовом виде, когда вернулся в Москву в 1947 году. Тем сильнее было впечатление: выпустили нас на свет.

В Мариуполе, откуда я в Москву приехал, таких эффектов не наблюдалось, там было не важно, есть затемнение или нет его, потому что металлургических два завода не затемнишь. У обоих заводов плавки – грандиозное дело, бабахает на полнеба, очень здорово, красиво. Был такой поэт, по-моему, Люшнин, у которого были отличные строчки: «Смотрит в небо Мариуполь на огневые облака». Мне товарищ привез из Мариуполя сборник, и там тоже какие-то стихи самодельные: смотрю, там те же строчки приписаны другому человеку... Первое поэтическое впечатление от Мариуполя – эти две строки, сразу после войны прочел.

В Москве очень старались после войны устраивать праздничные иллюминации. Это было общее желание, и правительство шло навстречу: лампочки по всем зубцам кремлевской стены, например. Так праздновалось 800-летие Москвы и Первое Мая, по-моему, тоже в 1947 году, сразу как я вернулся. 9 Мая праздновали вслед за Первым нисколько не хуже.

В войну, конечно, опускались маскировочные шторы, и наружу свет, действительно, не пропускали, темно было снаружи, но и внутри тоже темно и жутковато. С тех пор я очень не люблю, когда комната освещается не верхним светом, а боковым. Состояние от этого тягостное

– какой-то военной болезни. В войну был лимит на свет, одна лампочка в комнате, на грече, лампе такой черной, поворачивающейся, поднимающейся на столе. Буржуйка, угар, от этого голова болит. Маскировочная штора ловит свет тусклый, косой какой-то, неправильный, больной; ловит дым и плохо очень ловит тепло, несет все через эти шторы, потому что нет тепловой подушки: печечка-буржучка стоит посреди комнаты (батареи обычно под окном, именно для тепловой подушки). Снаружи тьма-тьмущая, темень. Помню, я изобретал какие-то средства освещения, а то и по лестнице даже не пройдешь. Синие лампочки. Гильзы то ли от противотанковых ружей, то ли от чего-то еще, большие, гораздо больше винтовочных обычных гильз, в них наливали керосин. С керосином тогда было довольно свободно, керосинки (корогазов не было). Налешь в гильзу керосина, вставишь какой-то фитиль, и важно было приделать, проволокой прикрутить крышку от консервной банки, какую-нибудь жестянку круглую, чтобы она светила и пускала блик – получается фонарь. Идешь и светишь этой штукой. Об электрических фонариках никто и мечтать не смел. То есть сами фонарики были, но батареек не было, ничего не было. Помню, как один фонарь продавался: огромный ящик с небольшим рефлектором и лампочкой. Какой-то военный суррогат, батарея – аккумулятор, конечно, она быстро села и этот ящик остался не у дел. Были фонарики у военных, на двух ремешочках, крепились на пуговицы шинели. Были немецкие фонари сигнальные с разноцветными стеклами, у меня даже такой был. С ними ходили патрули: у военных батарейки были.

Я глупость пробовал делать, ртуть натирать. Откуда-то у меня была ртуть, градусник, что ли, разбил: отражатели стеклянные, конечно, сияли, сверкали, но недолго. Мы с мамой ходили, гуляли, я очень горд был, что у меня собственный осветительный прибор. А когда у меня появился фонарик, помню, что пускал зайчика. Можно было пустить с Козицкого переулка на улицу Станиславского, на дом большой, Дом актера, что ли. Совершенно темная стена, и зайчик ее действительно достигал – это было, конечно, сильное впечатление. Слабый-слабый блик, потому что совершенно не сфокусированный.

А еще впечатление – крыши. Мы на четвертом этаже, и в нашем доме это высоко, крыши соседних домов видно. Я с детства запомнил, какие эти крыши есть, какие они должны быть. И очень удивился, когда они вдруг стали меняться. Сразу даже не понял, что происходит, где-то в 57 году, примерно к фестивалю. Крыши тогда стали (как и всю Москву вообще) здорово подновлять. А я привык к крышам в заплатках, залитым асфальтом, битумом: наложены тряпки и залиты чем-то таким черным и серым. И вроде так и должно быть всегда. Почему так? Те самые осколки в войну крыши дырявили, а бедняги домоуправы, все жильцы как-то чинили, так что крыши хоть и текли, но не катастрофически, и заплат хватило лет на десять, даже больше.

Про голодуху в эвакуации. Я рассказывал уже, что с дистрофией валялся в больнице в Казани сорок дней, вместе с ленинградскими детьми, физически не мог ходить в школу. В Москве уже можно было что-то пожевать; есть хотелось все время, но не так, чтобы валиться от голода. В школе засиживались долго, потому что дома было хуже. В школе был завтрак, так это называлось, т. е. носили по бублику и по ириске. Иногда еще стакан чая. Обычно завтрак был сухой, тем не менее, с удовольствием сидели, и учительница с нами, и читали мы «Марку страны Гонделупы», любимую книжку. Чем позже домой попадешь, тем лучше, а в школе хоть тускло, но светло. Классная комната: тоже света не хватает, но все-таки он сверху хотя бы светит, как-то повеселее.

Помню раненых, много: госпиталь близко от нас по улице Москвина и на той стороне Петровских ворот. Раненые остались в памяти как люди активные, бодрые – кто с костылями, кто с палкой, кто с чем, но не унылые...

* * *

Все-таки, набрав уже 24 очка из 25, поступил на филологический факультет Московского городского педагогического института им. Потемкина. Здание тогда было в Гавриковом переулке. Оно и сейчас там стоит, четырехэтажное школьное здание. Как раз в год окончания Потемкинский институт упразднили, слили с Ленинским.

Эстакада сейчас проходит точно над тем местом, где стоял кинотеатр «Шторм». В кинотеатр мы, конечно, очень часто ходили. Не всегда во время внеучебное, больше с лекций удираешь, уж слишком близко он был.

Самое хорошее было время из всей жизни: пять лет жизни беззаботной и одновременно какой-то отчаянной. Перемены такие в стране. И группа наша была девчачья, трое только ребят человек на двадцать. Трое ребят, но фактически четверо – это интересная история. Самый симпатичный парень в нашей группе, Виктор Петрушков, не поступил, не добрал очко или пол-очка. Колебались, зачислять или не зачислять, решили не зачислять, но он стал ходить в явочном порядке на занятия. Под каким-то псевдонимом, фамилию меняли, путали. Это была почти игра, в которую, естественно, замешаны были старосты, комсорги. Девушки скрывали его очень серьезно. Первые полгода он практически ходил всюду, куда и мы ходили, вторые полгода появлялся эпизодически: по-моему, поступил в институт и стал учиться курсом младше нас. А наш курс и наша группа, отчасти благодаря этому сюжету с укрывательством Петрушкова, сдружились и сплотились. Причем не было каких-то настоящих романов тогда на младших курсах. Народ зеленый, лопоухий, и была атмосфера дружелюбия, какой-то всеобщей, может быть, и влюбленности. А поскольку мы были ребята, то попадали под эти положительные девчачьи флюиды. Чувствовали себя, конечно, замечательно, на седьмом небе всё время. И способствовала этому делу борьба за нашего Витю Петрушкова.

Вообще мы были дураки-дураки, да не очень. Могли и зубки показать.

Была история, например, с фельетоном. Месяц, может быть, с небольшим вместе. И вдруг читаем в газете – наша малотиражная газета «За педагогические кадры» – фельетон под хлестким комсомольским названием, очень типичный для тех времен воспитательный фельетон, много глухих угроз, замахов крутых, движений зловещих и угрожающих, жаргона, оборотов специальных, всякому знакомых по комсомольской работе, что есть вот какой-то негодяй, враг, с ним бороться надо, воспитывать его надо. За что? За то, что он стилига. Ну, может быть, даже не было этого слова, но было совершенно ясно, в чем суть. Тогда это было еще актуально. Стилиги, плесень, с этим боролись, волосы длинные, что-то в этом роде. У нас таких людей не было. В институте настоящей борьбы, настоящих проработок не было, и фельетон был отрывкой каких-то дел и навыков, которые годика за два – за три до нас, вероятно, здесь тоже были. Кто-то из ребят постарше, на этом деле воспитанный, написал так про одного парня, который с нами учился. Парень этот, действительно, несколько отличался от нас, был более щеголеватый, но ничего плохого мы за ним не замечали, и самое главное, никаких фактов в этом фельетоне не было и быть не могло. Фельетон ни о чем, но с угрозами. Предполагалось, что актив комсомольский знает, как надо, газета тоже не обсуждается: газета зря не будет беспокоиться. Наше дело – прислушаться и насторожиться. Должна произойти определенная поляризация, какие-то силы должны выявиться... А может, просто счеты сводили с этим парнем. Но мы посмотрели-посмотрели, и я подумал: «Ах, ты фельетоны писать? Я тебе напишу фельетон! Даром, что ли, я Ильфа и Петрова наизусть зубрил?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.